

*Кира Ткаченко*

**Мария Голубая**

Автор обозначает жанр своего произведения как «сказка-притча». Все события в ней происходят в двух мирах – явном и неявном (навном). В первом протекает видимая - физическая жизнь героев, во втором - невидимая - духовная. Сегодня, когда наличие тонкой материи уже доказано учеными, рассмотрение образов героев через двойственность бытия уже можно было бы и не считать сказочным. Однако книга написана 40 лет назад, но лишь сейчас увидела свет. Время пришло? Это очевидно. Пришло время взглянуть не только на нашу жизнь, но и на всю историю государства Российского как на противостояние злых и добрых сил, как на процесс непрерывного выбора человека – будь то мужик или царь: с кем мне быть? Из века в век живут рядом с нами искалеченные души: Своеумник, Греховодница и Бражник, ходит среди нас вечная спасительница Мария Голубая... Нам бы только не ошибиться, с кем быть...

#### Об авторе

Ткаченко Кира Ивановна родилась в 1929 году.

Окончила Московский Полиграфический институт, редакционно-издательский факультет. Работала по специальности в Тюменском книжном издательстве, на Омской студии телевидения, в «Новостях недели», на телестудии Южно-Сахалинска занимала должность заведующей детской редакцией.

В 60-тые годы была разъездным корреспондентом «Литературной России». Ездилa по национальным округам России, публиковала очерки о малых народах Севера.

Печаталась в «Детгизе» и издательстве «Современник», переводила национальных прозаиков.

В последние годы пишет православную прозу.

## ВСТУПЛЕНИЕ

Мы плыли с ним на лодке с дырявым дном, поочередно вычерпывая воду, позади остались наши преследователи – завидовские браконьеры. Скорость передвижения на аварийной посудине была минимальной, и только к позднему вечеру мы дошлепали, наконец, до деревни.

В дырявой лодке находились двое счастливых: я и мой близкий друг и коллега по «Литроссии» Саша Соколов, решившие поменять скудную редакционную зарплату и служебный гнёт на нищенские, но вольные хлеба и безграничную творческую свободу.

Лето 1972-го. Совсем рядом горят торфяники, но дымная мгла не достигает нашей деревни, поглощаемая прохладой Московского моря. Мы молоды и свободны, и можем, наконец, писать, что хотим. Саша начал «Школу для дураков», а я...

Я повстречалась с ней на берегу.

Событие, которое определило появление моей Книги, показалось сразу чем-то сверхъестественным... Какой-то незнакомый мальчик бежал мне навстречу, оставляя на мокром песке странные следы: они выглядели так, словно ребёнок движется пятками вперёд. Что за дела? Не веря своим глазам, я оглянулась по сторонам, пытаюсь понять, есть ли здесь кто ещё, кроме меня и мальчика, но берег был пуст и других следов больше не было.

Вернувшись с прогулки, я поспешила за объяснениями к Пелагее Яковлевне – хозяйке небольшого сарайчика, который мы с Сашей сняли на лето. Удивительно, но она, недолго думая, сразу же ответила:

– Это тебе предвесть.

– Какая ещё предвесть?

– Жизнь поменяется.

– Как? – не поняла я.

– Не знаю, проживешь – увидишь...

Мне не пришлось долго ожидать. На следующий день я уже сидела за разохшимся деревянным столиком и писала. Писала свою Книгу, свою «Марию Голубую». К тому времени меня нельзя было назвать новичком в литературе, я писала и издавалась, но здесь оказался совершенно другой случай – не я творила Книгу, а Книга творила меня.

Моя рука покорно следовала за внутренним голосом, с любопытством и удивлением созерцая невиданные и неведомые мне ранее картины.

Задумываться было некогда. Строчки неслись, как скорый поезд. Мы жили с Книгой душа в душу всё то прекрасное и счастливое лето. Мы тянулись друг к другу и понимали друг друга с полуслова.

Довольно непростая манера, которую предложила Книга, оказалась необременительной, а вполне естественной. Играючи мы путешествовали во времени, меняли прошлое на будущее, реальное на ирреальное.

Лето закончилось и ушло, но осталась Книга – единственная связь с ним, теперь уже не близким другом, а только «коллегой», остался запечатленным в Книге наш нескончаемый внутренний диалог. Не могу не признаться, что я тогда с трудом вышла из депрессии, а Книга «впала в кому» на целых сорок лет.

Вывели её из комы мои друзья: Алексей Ломунов, Алина Чадаева и Светлана Солопова.

Теперь она – моя Книга – перед вами, дорогой читатель. И да любите друг друга...

*Кира Ткаченко.*

## I

*Но мысли вот-вот перепутает сон,  
Гонитель порядка и связности...*

Пётр вышел из дома.

Ранее утро, роса на траве, нежаркое солнце...

– Хорошо! – потянулся Пётр. – Освежительно, по холодку в самый раз прогуляться.

– Майка, – позвал, – Майка, где ты, негодная?

– Здесь, – откликнулась коза, выпрастывая рогатую голову из кустов ивняка.

– Айда со мной.

– Куда? – поинтересовалась Майка.

– На кудыкину гору, на её левый склон.

– Не пойду, – заупрямилась коза, – «рано ещё, сыро ещё...»

– Откуда таким словам научилась?

– Да Сашка всю ночь стихи читал какого-то Пастернака, я думала, что про овощи, а это про любовь.

– Ладно, собирайся, не на верёвке же тебя тащить в такие дивные места? А то и поташу! Легко!

– Мне и здесь неплохо, питание отличное: пожую листочки, погрызу кору, а там, смотри, и в огород залезу, огурчиками молодыми похрущу, только они ещё малы – одни пупырки и никакого вкуса.

– Пёс с тобой! – ругнулся Пётр. – Да и то, правда – не по зубам козьим волшебство. Вам бы, рогатым, только день и ночь жвачку жевать. Ты как хочешь, а я пошёл.

Коза не возражала, не очень-то нужно с такой пьянью, как Петька, общаться на виду у всей деревни. Кому неизвестно, что коза скотина независимая?

Идёт Майка по улице, рога за спину гордо закинула, наблюдает. Вон Муська Красалымова с бабкой Полей на лавочке сидят и за Барсиком следят, чтобы он птичку на рассвете дня не схавал.

– Вот ненормальные, – рассуждает коза. – Всё равно всех не спасёшь, сам не зевай. Это правильно коза заметила, но и у Полюшки, и у кошки её сердца жалостливые. Не согласны они, чтобы «пузо неласковое» – этот кот-живодёр жизнь молодую у воробышка отнял.

– Кыш, кыш! – кричит бабушка Поля и палкой машет, отгоняя птенчика, что клюёт беззаботно крошки, рассыпанные под окном. – Ишь, – ругает кота, – арестантская морда, как нацеливается!

Кот, не обращая внимания на крики хозяйки, подкрадывается всё ближе и ближе, готовый схватить добычу. Тогда старуха громко командует:

– Муся, давай!

Муська бросается вперёд, едва успев остановить сына в его смертельном для жертвы прыжке. Перепуганный птенец в ужасе шарахается от брякнувшегося рядом кота и, взмахнув крылышками, улетает к вящей досаде Барсика.

Бабка с кошкой идут домой чаёвничать, а коза Майка продолжает свою прогулку, мысленно споря с такими идеалистками, как Поля Красалымова и её полосатая подружка:

– Муська, говорят, одну картошку трескает, от мяса и молока отказалась, постницей сделалась, а для чего? Желает сто лет прожить? Да и Поля туда же: «чем еда

плоше, тем здоровье лучше». От их занудства у Петьки крыша поехала – пьёт и не закусывает, а домашним своим советуется поскорее убраться в Царство небесное...

*Мир живёт себе и живёт, ни о чём таком особенном и не мечтает, в своём царстве, в своём государстве, а того не знает, что рядом протекает иная жизнь, там всякое бывает, как в сказке, а в сказке без небывалого не обойдёшься.*

*Шла по дороге Мария, утомилась и спать захотела, прилегла на сыру землю, видит сон: подходит к ней Осип Прекрасный и плачет.*

*– Почто плачешь Осип?*

*– Ключи от рая в море бросил.*

*– Ключи от рая?!*

*– Вот какая беда!*

*И тут из-за высокой горы раздался голос:*

*– Ау, матушка, как жить будем? Без ключей, неужто никто из нас Царствия Небесного не наследует, – это Пелагея Красалымова, мать Петьки хозяйка Муськи, откликнулась на страшную новость...*

\* \* \*

В деревне сейчас тихо: дачников осталось мало, а деревенские сплошь старье да инвалиды, по домам сидят да помалкивают не то, что в былые времена. На улицу никто и не высовывается, разве, что к машине продуктовой сбегают отовариться: теперь все на покупном живут, коз да коров на мясо сдали, лопают сосиски с колбасой. А раньше в молодые годы! Ого! Чуть что – в проулок, за поворот. Там сокровенная земля, там Горки Едимновские, там оборачивайся, кем хочешь: можно козой, можно волком, можно царём, можно и скоморохом, а можно и лебедью белопёрой...

По правде сказать, никаких горок в Горках Едимновских нет – место ровное, один пригорок небольшой над Волгой, где раньше церковь стояла. Так почему же «едимновские» эти горки, которых нет на самом деле? Почему они единственные на всей тверской земле? Секрет. И нет ключа, чтобы тайну раскрыть, разве, что попросту догадаться: есть на земле ещё одна Волга под названием «Нуичтожь», ещё одни Сумы – они же «Монтесумы», есть и гора «Кайлас» – копия стопроцентная Горок Едимновских, волшебная гора. На этой волшебной горе с одной стороны – ЯВЬ, с другой – НАВЬ. На явной стороне живут по-людски: пьют, едят, спят, любят, целуются, детей рожают. Там, где навь, там все по-другому устроено: люди по небу летают, как птицы, по воде пешком ходят, сквозь стены слышат, ведают, о чём трава поёт, и звериную речь понимают...

На явной стороне проживают обыкновенно: ходят ногами по земле, по воде плавают, сквозь стены не слышат, обличьями не меняются, будущего не предсказывают, и сны вещие не видят... Где навь, там всё наоборот: трава поёт, звери глаголют, люди вещие сны видят.

Хозяева той волшебной местности – вестники-предвестники. Они, хотя и редко, всё-таки заходят на противоположную сторону горы, раскрывают её секреты. Простому

жителю, например, могут сообщить, что он не такой, каким себя знает, а волк или коза, или лебедь, или пирожок ни с чем...

\* \* \*

Коллега:

– С какой дури вы, уважаемый автор так стараетесь? Всё-то вам надо обосновать, концы с концами связать, чтобы во всём был порядок: и герои ваши не шастали, где попали, а были привязаны ко времени и месту действия, соответственно историческим свидетельствам. О чём сейчас задумались? Двух страничек не хватает? Наплюйте. Не вспоминайте, не вписывайте, оставьте, как есть. Это даже хорошо – пустые страницы, их тоже пронумеруйте, они тоже денег стоят, хотя... Вот, надо же! – мысль гениальная в голову пришла – чистейший абсурд. Вижу перед собой книгу, чистую, не замаранную типографским шрифтом. Книга без букв, как песня без слов – вокализ. Здорово! Никто до этого раньше не додумался – никакой ответственности. Насобираю побольше чистых страничек, переплету и – в Стокгольм, на Нобелевскую. Могу для пущей магии над бессловесным пространством пальцем помановать и точку поставить. Почтище «Чёрного квадрата» – одна крохотная точка на белом. Эй, читатель, обрати внимание, у твоего автора уши в пыли. Я знаю, что говорю, мы с ней в красалымовском курятнике произведения сочиняли, надоела она, помнится, своим бормотанием бессвязным, почти церковно-славянским. Я тогда своих «Дураков» писал; она – «Марию» непонятно почему «голубую», восхваляла бабку Полю, умудрённую сказительницу – осколок древней мудрости, Махатму здешних мест. Свидетеля.

*– Ты, ирод, не обзывайся, я тебя с того света слышу, из-за Горок Едимновских. Придумал! Слово-то какое – Махатма!*

*– Зачем же, Александр Всеволодович, так старушку пугать? Ей ваша образованность, как козе гармонь.*

Пётр из-за прясел откликнулся:

– Пустое дело, матушка, ждять у огорода овощ. Лошади моторные отказали, на одном цилиндре давеча из Безбородова едва доплёлся. Гуляли мы тамо. Он – с лесоводихой. Я – с врачихой, зубным техником. Мне зубы нужны стальные, чтобы камни небесные грызть...

– Откажись!

– Не могу. Сашку надо учить. У него зубы слабые, скалить может, а рвать – нет. От козьего молока вся зубная крепкость.

– Козы-то скотина нечистая, у них рога и копыта раздвоенные, как у дьявола. Не ходи, сынок, с лесоводихой, у неё шерсть на лядвах щипцами завита.

– Трепло худое вы, мама родная, Пелагея Яковлевна. Русским языком говорю: учить квартиранта буду, в егеря его произведу. Лидка уже слово в кадрах замолвила. Пошли, коза!

И коза откуда-то взялась, в ушах у неё – серьги! Розовые, с камушками. Никто и не заметил, как это продавщица Милка в настоящую козу обернулась, да и выбегла из-за прилавка на Петькин призыв.

И что в нём нашла? Нынче жизнь у продавщицы – гуляй, не хочу: из хлебных буханок хлев сложен, белыми батонами двор вымощен, печенье да конфеты «мусором» зовутся, метёт их Милка веником прямо на улку, не жалеючи. Одними сладостями и питается, оттого, говорят, молоко у неё в грудях с малиной...

– *Страм какой! – ужаснулась Пелагея Яковлевна.*

– Тёмная старушка, необразованная. Нарушаете нормы литературной речи, это же фривольно, некрасиво, бестактно. Зачем же так нашу гордость, сексапильность совершенную оскорблять?

– *Уйдёшь по грудь в песок сыпучий, в избе песчаной будешь жить, уши и очи песком засыплет, – пророчествовала Пелагея.*

– Мы согласны в «скворечнике», – кивнул головой Пётр и позвал:

– Сашка! Размещайся. Свет проведу, камин поставишь. Не замёрзнете втроём. Под койку гармонь задвину. Песни будем играть. «Чудный месяц плывёт над рекою, всё в объятых ночной тишины...»

Лёг на койку, ноги – в песке, всё помещение песком засыпано, по самые колени. – Грязно жить больно хорошо – отдыхаешь! Из окна смотреть – Волга видна. Один берег зимний, другой – летний...

– Как так? Разве бывает, чтобы и лето, и зима в одно время?

– Избирательная память, – проважничал Сашка слегка научно.

– *Ау, матушка, – всхлипнула ясновидящая*

– Опять влезла, – возмутился Пётр Красалымов, – всю душу выела святая эта, ни даёт покоя, куда бы ни спрятался от неё, в какое бы время не схоронился.

– *Ах ты, сынок, сынок-пирожок ни с чем, не ведаешь, что время никуда не движется. Стоит. Это только люди вокруг него мечутся, бегают туда-сюда. Вот и я сейчас забежала в него, в молодые свои годы...*

– Ой, ой, ой, помираю!

Конь молодой трёхлетка взбесился, кинулся скакать по пашне.

Красалымовых молодка, двадцать пять лет от роду, соху из рук выпустила, животом тяжелым ударилась о землю:

– Соседушки, помираю!

Подняли её с земли. Поля песок изо рта выплюнула, побежала коня догонять, трёхлетка зубы оскалил, а зубы-то не конские, страшные! Он ими – хватать Полю за бок.

Бежала она от коня, бежала-бежала да и упала, скинула ребёночка-то. Пять лет детей не было. В Питере у докторов лечилась.

– Вылечишь ли, барин?

– Вылечу, ещё семнадцать родишь.

– Слышь, Миколай, доктор сказал – семнадцать рожу.

– На кой нам семнадцать?! Тридцать рублей получаю, «углы» снимаем. В Петрограде знамение было: через пять лет войне случиться. Мировой. Ливорюция будет. Слово-то, какое: «ливорюция», неслыханное, наподобие «антихрист». Кум Савелий спичками вычислил число 666, получилось – «Ленин».

– Тятеньке-свёкру денег послать?

– Пошли. Ты расписки складывай, жена. Как отделяться будем, покажем. Наша доля поболее всех...

– Сказывают: Ленин объявился. Во!

– Царица Небесная, спаси и сохрани!

– Привезли?

– В телятнике! На Финляндский.

– Кашемировый платок мой куда задевался? Не знаешь? Три рубля платила. В огурцах турецких.

– На койке висит, раззява, не видишь, что ли? Собралась на Ленина смотреть? Скажу тебе, Поля, не бабье это дело. Сидела бы лучше дома.

– Вот ещё – дома! Да вы, мужики, без нас – никуда. Мы вам жизнь поворачиваем правильно.

– Народу-то, народу! Ау, Миколай не угнаться... Попёр, как лось. Мужчины, не давите так локтями. Пропустите. Не слышать мне, что говорит энтот Ленин. Он китаец что ли? Глаза косят и нос коротенький. Разговор барский, картавый, как у нашего барона Корн, Миколая Дмитрича.

– Уймись, сударыня, слушать мешаешь!

– Я не мешаю, а вот ты, кобель, озоруешь – всю грудь исщипал. Миколай, подь сюда!..

Не слышит, помер давно. Все померли. Теперь одни с Петькой живём. Ногу сломала – на одной кожице висела, а теперь и руку повредила. На все воля Божия, может, хрящик наростёт.

Читал мужик мой, Царство ему Небесное, Святое писание, там сказано, что времена наступят адские – матеря будут деток своих во чреве убивать, чтобы не рождались. Страсти какие, Миколай, это же грех смертный. Должно быть, ты неправильно читаешь, не может этого быть!..

Я как Петеньку родила, больше уж не рожала, Господь не благословил. А вот ребятушек чужих много приняла, как из Питера вернулась.

И хохлов, и латышей – много их тогда в наш лесхоз нагнали. Тяжело жилось им, но детей оставляли. Ко мне приходили, просили: «Прими ребёночка, тётушка Поля». Принимала. Куда денешься? До больницы далеко, можно и не успеть. Потом все удивлялись, мол, твои детки все здоровые, а у докторов, случается, и помирают. С войны мои все вернулись, никого не убило. Вон, какие толстушие сейчас ходят.

В революцию хозяин вызвал Миколая и говорит:

– Езжай в свою деревню от греха подальше, ведь у тебя семья. Дом ставили с десятью рублями. Спросили у тятеньки-свёкра, где наша доля, мы ведь немалые деньги из Питера отсылали. Озлился свёкор на нас очень:

– Тут вашего ничего нету!

– Как нету? А расписки?

– Расписки в нужник снесите! Так мы ни с чем и остались. Как помирать стал, призвал нас:

– Полюшка, красное солнышко, облегчение сделай, три дня на двор не хожу. Сама его дерьмо голыми руками выковыривала. Свекрови говорю:

– Вы, маменька, почему отступились? Ведь он вам муж.

– Груз большой, сердце не терпит. Я ему глаза закрыла, как помер. Свекровь потом у меня в избе три года жила, всё под себя ходила, я ей и припомнила:

– А не грузно ли мне, маменька, за вами досматривать? Так вот и получается, что за грузы-то мне Господь жизнь даёт... Гляди-ко, галка в избу залетела, должно, душа чья-то. Миколай? Ты ли это?

– Я.

– С того света? Как же тебя ко мне пустили?

– Тебя, горемычную, утешить. Тяжко женщине без помощника.

– Ох, тяжело. Одни дрова сокрушат...

На Часах Времени – двадцатый век, семидесятые годы. Место действия – Горки Едимновские. Разговор автора с коллегой.

Коллега:

– Нахальной, минуя приёмчики «толстых», «куприных», «аксаковых». Я в курсе твоих затруднений, мы же с тобой, когда переживали то замечательное лето на Волге, обговаривали этих стариков и старух, думаю, что вполне можешь довериться Петру Николаевичу, пусть вводит новое действующее лицо. Понимаю, руки чешутся поиграть с категориями, но сейчас это никого не интересует – в моде прямое действие. Итак, пиши: «Идёт по берегу...» Местоимение убрала?.. Молодец. Теперь продолжай по тексту: «девушка в синем платье по дороге»... А куда ей деться? Кто она такая?

– Это же Маша Поднебесина. Старая любовь.

– Откуда взялась?

– Из прежних времён. С ней Петька клевера мял на лугу... Какие клевера были до войны! А какая морковь!? Вилами копали. Что характерно – без химии.

Пётр:

– Маш, ты что? Уходишь? Обиделась насчёт клеверов? Так ведь ничего не было, я же тебя пальцем не тронул. Машенька, посидим? Говоришь, времени нет? Пёс с ним с этим временем! Сашка говорит, его вообще нет. Так что нечего жалеть о прошлом. Бери меня с собой, девушка дорогая, дорогой потолкуем.

– Нельзя тебе, Петенька, со мной.

– А ты куда, на танцы?

– Неодетый ты!

– Как неодетый? Я же в форме.

Глянул на себя – гол: ни брюк, ни тужурки егерской. На теле – листья лопушиные, сухими прутиками прошитые, ноги – в тине.

– Отвернись, Мария, стыдно!

Прошла мимо, следы оставила на песке...

– Вернись, вернись, девушка, покажись остальным, – взмолилась старуха Пелагея.

– Жалко их, бездушных.



\* \* \*

Шмелиное царство, да моркови цветущей царство, да огурцов, листьев прохладных царство, синего воловика, сухой полёвицы, резной гвоздики на лугах государство.

Злой зверь пчела-работница. Кто работник без жала, тот пустой работник. Защиты ему нет. Каждый хочет украсть наработанное кемто добро. У пчёл есть и мёд, и жало.

Мир людской – царство звериное, государство пчелиное: борьба да убийство – все работают.

Всякая тварь земная на человека равняется. Человек убивает – тварь ест друг друга. А ну, перестаньте, люди! – мир остановится. Кончится работа – жало отпадёт, хищники упразднятся.

У цветов жала нет. Рвёт их, кто захочет, плоды едят, листья жуют... Из тысячи семян одно, наработанное, прорастёт – и ладно, и хорошо.

Человек и зверь к Богу лишь грядут, а они – уже Божи.

Быть бы человеку цветком безгрешным: цвести, плоды растить, всего-то делов!

Коллега:

– Это опять я, не удивляйся. Пребуду с тобой, пока правильно не вырулишь. Стою и разговариваю, поменялись ролями, теперь я – учитель, я – известная мировая величина, а ты кто? Надеялась на талант – сундучок с драгоценностями, ну и владей им сама! Я в известное тебе время кое-чем оттуда поживился. Мне можно, ведь я – имитатор, я так искажил эти нетленные ценности, что их никто не узнал. Без дураков... вернее, с целой их школой. Если бы читатели догадались, что стекляшки, им подсунутые, – настоящие бриллианты, не продал бы ни строчки. Держу в памяти один «камушек», рука не поднялась, чтобы загнать за определённую мзду, хотя в деньгах всегда нуждаюсь, несмотря на гонорары...

«Скворечня» Пётра Николаевича – тесная пародия на жилое помещение. Чай пьём из стеклянных банок от овощных консервов (рассказывал в Америке – не поверили).

Закат, последний луч вечернего солнца, как там у Гейне: «абензонненшайн», позолотил волосы, когда ты наклонилась над замурзанным крохотным оконышем, чтобы смахнуть пыль и мерзких дохлых мух.

Вот и всё. Нечего, пожалуй, не случилось в тот миг, кроме счастья...

## II

*Тогда плакала Мати Божия Богородица,  
Роняла слёзы на сырую землю.*

Выйди, выйди на утреннее солнце. Роса чиста. Воздух светел. Цветы цветут. Мухи жужжат. Кот умывается. Слова спят.

– Эй, лесоводиха-греховодиха, эй! Постой. Не спеши с худым.

Вышла. Ух! Тошно! Роса чиста. Воздух светел. Цветы цветут. Мухи жужжат.

Следы на песке увидела, вчерашние следы Марии Голубой. Полыхнуло из бесовских глаз. Давай топтать след узкой стопочки Мариинной:

– Вот тебе, старая любовь, вот тебе клевера, вот тебе, вот!

Распалась, разъярилась. Кто бы посмотрел – столбом соляным стал.

– *Отвернись, Мария, чего плачешь?*

– *Душеньке больно, душеньку душит. Замучилась...*

*Осип Прекрасный из кустов вышел, кроткий, в белом, говорит Марии:*

– *Близок грех, да не бойся его, не беги от него, ступай навстречу. Убоишься замараться о чужую грязь – гордыню вскормишь, червяка в яблоке спелом. Ступай, Голубая.*

Лесоводиха рада: пуст сделался берег, без единого следа вчерашнего. Нырнула в глубины, поплыла. Где проплывёт – там вода омертвевает. Жуки, мушки, пауки, рыбы всплывают кверху брюшками, кувшинки вянут, лилии белые гниль облепила.

Поднялась из реки. Ох, и огромна! Живот лодкой, руки-ноги, что сваи под мостом, с голых грудей – брызги. Встряхнулась, как собака курчавая. Любуется собой. Пища её красоте – смерть чужая. Кто за руку возьмёт – руку потеряет, до ноги дотронется – охromeет, в губы поцелует – умрёт на месте.

Стоит на берегу баба лихая, ждёт Машу. У Машеньки ручки тонкие, глаза вниз смотрят. Где твоя краса, Поднебесина, где живот гладкий, уста кровяные? Пчела без жала, цветок нетленный, беззащитный...

Встретились.

– Непорочная! – затрубила греховодница, переливая в горло срамную силу. – Дура небесная. Всё на гармонике души с мужиком играла. А надо было его душой как картой козырной бить, чтоб чертям тошно стало. Что вы там с Петром делали в клеверах-то?

– Любила я его...

– Нет любви! – зашла от злости, чёрная краска поплыла по животу, груди, достигла сердца, углём стало то место. Свернула кукиш:

– Вот тебе, любовь! Гуляй, коза!

Ай, да Майка! На рогах банты, в ушах серёжки, встала на задние ноги по-человечески рядом с подельницей по блюду. На сосках у Майки кольца обручальные.

– Ой! – удивилась подружка. – Откуда колечки?

– С Петькой и Сашкой обручилась, – кокетливо потупилась коза.

– С двумя сразу?

– А то.

– Сама придумала?

– Не. Мужики научили. Исключительно смешно получилось, под частушку.

– Спой.

– Да там всё по-матерному.

– Не бойся. Её, что ли стесняешься? Ничего, пусть терпит. Мы её ещё и умоем.

Давай, дереза, ты первая.

Подбегала коза, задирала хвостик.

Ох, тяжко Голубой, ох, обидно. Бежать бы, да вспомнила Осипа Прекрасного – осталась.

*А он вновь голос подаёт:*

– Претерпи до конца!

Недвижна Мария, одежды чистые плевками да скотским дерьмом изгажены. У блудниц краса их пуще разгорается. Кожа золотом отливает – глазам больно смотреть, у козы шерсть белее шёлка-атласа, а рога завились удивительно – на концах.

Скачут вокруг девушки, издеваются:

– Нет любви, нет любви! Ме-ме-ме, бе-бе-бе, хрю-хрю-хрю!

– Бедные, – заплакала Мария, роняя слёзы. Голубыми алмазами вспыхнули они на песке, очистились ими одежды. У Марии тепло по телу разлилось. Хорошо стало стоять, легко. Растворила грудь, как дверцу, сняла сердце, в руках держит, девкам протягивает:

– Нате, погрейтесь. А те взмолились:

– Убери его от нас, не стерпим... Непривычно нам, ой, ослепила! Бросились бежать, да никак не могут по бугру песчаному подняться – вниз сползают. Тут из клеверов – Петька с Сашкой:

– Где, дуры, шляетесь? Велено было не высовываться. А ну, марш домой, чтобы и духу вашего тут не было!

*Осталась Мария одна на пустом берегу, в раскрытых ладонях сердце своё держит, плачет. Подбежал мальчик незнакомый, стал её слезинки собирать, набрал полные горсти:*

– Посажу, тётянька, в огороде?

– Посади, милый, – разрешила Мария.

\* \* \*

Ждут царя в Коломенском. Принарядились. Бабы лица набелили да нарумянили, сарафаны на них ненадваны. Мужикам ещё вечера порты на Москва-реке валиками попрали, дома рубцами откатали.

Жаркое нынче лето. Куры в пыли купаются, утки и ребятишки целый день из воды не вылезают, ныряют кверху задом.

Сенокос. И косили, и копнили, и скирдовали – ни одной дождейки так и не выпало. Дивно! Знаменья ожидали, чуда.

Нынче на царской даче престольный праздник в честь иконы Божией Матери Казанской отмечать будут. В храме томно от горящих свечей. Служба вот-вот начнётся.

С самого раннего утра высматривают возок царский.

– Едет! – заметив обоз, взревел радостно холоп-наблюдатель.

Недвижим на сиденье бархатном государь, ликом тих, в одеждах чёрных, монашских. Бровей грозно не супонит, вены на висках опали. Ахнули люди – вот и дождалось знаменья: царь-то грозный наш нынче смиренней ягнёнка, как бы чего не вышло!

Не спешит государь, кучера не торопит. Тарахтят колёса по кругляшкам – сырое место здесь, гать. Проехали. Из-за дубов блеснули церковные луковки голубые все в звёздах золотых.

Велел остановиться. Наклонился. Сорвал цветок. Белую ромашку. Так и ехал дальше, не выпуская её из рук.

Слуги царские отпотели оконной сыростью, а он – сух. Глаза серые с зеленцой в ресницах тёмных, как озёра в густой осоке.

Колокольный звон плывёт над водой, вспоминает царь тот день.

Румяный да пригожий вошёл к нему в палаты царевич Иван: широк в плечах, узок в талии. Залюбовался царь и пожалел, что сам уж не таков.

Вошёл, оком ястребиным охватил всю палату целиком – умеет смотреть царский сын, наследник престола.

Отец за столом сидел, писал поспешно. Только голову от письма оторвал, чтобы взглянуть на того, кто пришёл, и тотчас забыл о нём. Чему-то усмехнулся, сощурился недобро, а потом рассмеялся, да так, что сын замер от ужаса. Хотел было бежать, но ноги не послушались, словно прилипли к пушистому ковру.

Царь заливается, хохочет. Чернильница медная со стола прыгнула и лягушкой поскакала к царевичу. Перо гусиное из царских рук вырвалось и – птицей в окно. С гоготом! Вихрь промчался по покою, ковёр волной вздыбился.

– С нами крестная сила! – перекрестился царский сын

Облаков нагнало – не видно ни зги. Темень, ветер и гроза – гнев царский. Силён гнев в человеке: горы сдвигает, моря волнует, всё крушит на своём слепом пути

Упал царевич, захлебнувшись кровавой волной.

Стихло всё. Гром за ставни ушёл.

Слушает себя царь-отец. Оглух ко всему миру – такой грохот внутри. Две силы сошлись: ангелы небесные с бесами сразились за царскую душу. Бесы победили – дитя родное под ногами лежит бездыханное, цветок без жала, безвинный, злой завистью ужаленный.

Вот что наделала твоя адская зависть! А помнишь, как входила она крадучись, сначала через досаду, мол, что это жёны прекрасные, для которых тебе не жалко было и передника золота, на сына-то твоего заглядывают за просто так. Нахмурился, помнится, заметив такое впервые, даже руки под стол спрятал, чтобы не заметно было, как дрожат. Пересилил себя, царевича подозвал, усадил рядом с любушкой своей, с той, от которой отрада майская в душе, если ему улыбнётся, а как нахмурит брови свои соболиные, то вода в реке сразу мутной покажется, ни травы, ни цветов больше не видать, будто белый свет разом под землю ушёл.

Послушался воле царской сын любящий, сел рядом с красавицей, а скамья под ним так и жжётся, так и горит.... У отца глаза вспыхнули – неспокоен сын: ага, чует кошка, чьё сало съела.

А то ещё разговоры пошли про царевича, как он в возраст вошёл. Стали бояре поговаривать, что сын-то не глупее отца, а, может, ещё более разумен в вопросах государственных, взять хотя бы войну с Ливонией. Царь Иван проиграл её и захотел мир подписать, а царевич воспротивился. У него нашлось много сторонников, и из-за этого заключили, что может случиться государственный переворот – Грозный многим людям насолил своим нравом бешеным, рукой безжалостной, упрямством и самовольством. Что из того, что хотел царь державу крепкую создать, на манер Византийской Империи. В этом, конечно, и бабка его София преуспела – посоветовала даже символы державной

власти ввести: двуглавого орла, трон императорский и ещё многое другое, о чём раньше в московских княжествах не ведали.

Гневался царь, сердился, казнил недовольных новыми порядками. Пробовал и словом письменным подействовать на умы мужей государственных, чтобы внушить единую мысль о могучей державе, чьё будущее он видел ясно и хотел поскорее его приблизить. Княжество Московское должно простираться на многие-многие версты. Не угол медвежий, затерянный в лесах среди болот, а духовный и культурный центр вырастет на просторах русских. Для этого царь приказал церкви строить небывалой красоты, не жалеть ни золота, ни камней дорогих для украшения икон. Книголюбом прослыл царь Иван Васильевич, библиотеку собрал невиданную, ночи напролёт просиживал за книгами – всё искал ответы на нелёгкие свои вопросы.

Опасен сделался для сил супротивных такой правитель, и решили они опозорить государя русского, посеять вражду между ним и приближенными, внушили всю родовую знать заменить подлыми людишками без рода и племени. Они теперь царю – знатному Рюриковичу – милее благородных вельмож. Разожгли бесы царскую похоть: бросается как одержимый на каждую особу женского пола, будь то невинная девица или чужая жена.

А пуще всего залютовал царь, когда умерла царица Анастасия. Любил её Иван сильно, при ней он всегда был милостив, справедлив, податлив на любое доброе дело, а тут сделался разом непокорливым, капризным, жёстким и горделивым. Раньше-то царская гордыня была похожа на орлёнка-подлётыша, а ныне крылья расправила, как тот орёл двуглавый на гербе царском. Озирает орёл все четыре стороны света, и везде ищет измену.

Возрадовался нечистый таким переменам. Гордыня – главное бесовское орудие для погубления душ человеческих. Одно дело какого-нибудь дурака простолюдина обмануть, внушить ему, что он великая персона; другое – царя на крючок подцепить, самого помазанника Божиего.

Изверг на троне русском появился, да ещё какой изверг! Там приказал сто душ православных загубить, там тысячу. Никого не щадит ни бояр, ни смердов, ни духовных лиц. Однако все имена записывает и молится о них в храме, панихиды заказывает по убиенным и сорокоусты. Сам молится так, что лоб – в кровь! Сатане Иванова молитва только в радость: «Стучи, стучи, сколько хочешь, а Бог тебе не отворяет, хоть и обещался».

...Распростёрся на плитах каменных в притворе церковном несчастный царь, горько рыдает, просит у Бога прощения, а ответа Его не слышит. Вдруг чудится ему: девица в голубых одеждах склонилась над ним, да так ласково смотрит, как бывало, и Анастасия смотрела, когда он о чём-то горевал.

– Вставай, – попросила. – Не убивайся так! Дел много впереди тяжёлых – за спасение души от гордыни своей будешь сражаться, а поможет тебе только любовь.

«Надо же такому пригрезиться», – удивился царь Иван, подымаясь с колен.

После той встречи царя словно подменили: как в былые времена, сделался он весел и приветлив, лицом посвежел, морщины на лбу разошлись. Позвал за сыном. Царевич отцом восхищён: умом его, учёностью, волей, мудрый муж его отец-государь. Послы

иностранные уходят, раскрыв рты от удивления, пьяные от речей его упоительных. А отец сыну завидует, его молодости, давеча расстроился, оглядывая себя в бане: живот обвис, на тайном уде волосы седеют... Вырвал, от боли весь скорчился – крепок там волосок.

Почтительно стоит сын пред великим отцом, ждёт от него приказаний.

– Вели охоту собирать.

Нежностью зашла душа – отец родной, дорогой, любимый, решил потешить сына-недоросля.

Царь на чёрном жеребце, царевич на белом...

Ласков отец с сыном. Покой в душе воцарился. Обещает себе царь: «Не допущу больше бесов, не поддамся зависти и обиде. Боже, за что наказываешь, за что искушаешь, за что испытываешь, за что не ограждаешь от сил сатанинских? Другие люди живут себе тихо, не знают этих мук, в которых ежечасно пребываю: то падаю в бездну, то взмываю к небесам. Али камень, чем выше брошен, тем тяжелее падает? Тако и душа моя с высоты полёта о земное сокрушается вдребезги. Велик ты, Господи, и чудны дела Твои. Разумом человеческим не постигнуть мудрости творения божественного. Как Небо устроено, как Солнце светит, или как Луна тает сквозь облако, как звёзды на небесах строятся во тьму и свет, в радость и скорбь. Мысль человеческая подобна свече, одиноко горящей в беспредельности тёмной ночи – многое ли может она озарить?»

И весел был царь и настрелял немало дичи, возвратился с охоты довольный.

Вдовицы, сироты, убогие, блаженные, странники, прохожие торопитесь, спешите к царскому крыльцу. Царь будет подарки раздавать: кому кафтан с царского плеча, кому шапку, кому чарку вина, кому кусок сладкого пирога, кому грошики.

Как заботливая хозяйка, что не жалеет зерна племени захребетному: курочкам да уточкам, так и государь расточает щедроты свои – крохи застольные. Верит – вернутся они тельцами жирными: преданностью и честным служением ему, царю-государю.

Кто от полноты своей делится с другим – того подвиг невелик. Знает это Иван и оттого душе его неймётся, не насытит её такую малостью, великих дел и свершений жаждет она.

Замечает царь в толпе каких-то странных людей. Скоморохи, что ли?

Парень в красной майке, в портах куцых, мужик в тужурке, в сапогах, на голове фуражка с латунным вензелем, жёнка полная, крутогрудая да коза, как боярышня разнаряженная: при серьгах и цепочке золотой на шее.

– Подите сюда! – кличет царь скоморохов. – Откуда такие явились?

– Из совка, – загоготали те.

– Откуда? – не понял Иван.

– Из будущего. Да ты не парься, царь-государь, всё равно не поймёшь, сознание не то. У тебя – метла, а у нас «совок» – государственное устройство такое. Ты своих поданных разметаешь в стороны, мы же их метём да собираем до кучи, чтобы легче потом уничтожить.

– Неплохо придумано, – одобрил царь. – Ай да скоморохи! Опричь всех моих советников мудренее будете.

– Однозначно, – рассмеялся парень в красной майке. – Пётр Николаевич, в опричники пойдём к царю Ивану Грозному?

– А то, – согласился мужик в тужурке.

– Ау, матушка, – воскликнула старуха Пелагея, выступая из толпы. – Как жить будем?

– Во! – удивился царь. Ещё и старуха к нам грядёт невиданного облика. Из каких краёв будешь?

– Да из Горок Едимновских. Пелагея Яковлевна Красалымова. А это мой сынок, егерь непутёвый, Петькой зовут. В красной майке – Сашка-москвич, дачник, девушка Лида в лесничестве работает, а коза – скотина бесхозная по кличке Майка. Все мы безвременные и безместные, снуём вроде челнока по основе жизни. Всегда есть и будем, пока мир стоит. Основа жизни одинакова: гордость, гнев, корысть, ревность, блуд, преступление. Господь меня свидетельницей вечной поставил. Сподобилась я и убийство видеть: сына ты своего убьёшь, царь Иван. Грех смертный совершишь, а спасёшься слезой покаянной...

Онемел Иван от такого пророчества, хотел было остановить старушку, но та скользнула в толпу, как рыбка в глубины морские.

Скоморохи пришлые смехом залились, довольные таким поворотом дела. Пётр гармошку растянул, а Лида песню заорала дурным голосом: «Окрасился месяц багрянцем...»

Что такое? Не плясун Иван-книжник, не весельчак Иван-многодумник, не певец Иван-каратель. На крыльце каменном дробит выбивает, перстами прищёлкивает, задом вертит, частушки запел, которых сроду не слыхивал:

– Семёновна, баба русская, сама толстая, а юбка узкая...

На каких игрищах научился так? А, Иван? Вроде бы и сам не свой, забыл, культова личность, что он царь. Гармошка впереди – Иван позади.

Дальше, дальше удаляются они от царского крыльца. Манит царя смех бесстыжий, меканье козье. Верста – к версте. Гляньте, люди добрые, у царя-то пятки впереди носков! Вышел он к Волге. Песок на берегу весь в следах, как в оспинах. Смолкла гармошка. Поскакали назад скоморохи-ряженные...

– А ты, – приказали из-за кустов, – смотри. Вот оно, Время.

Зрит Иван купол прозрачный. Проходят мимо него все, кто есть на земле от букашки до слонов-великанов и львов пустынных. Но внутрь никто не попадает. Там мир недвижим, никто не умирает, никто не рождается, не ест, не пьёт, не губит, не убивает. Там благоухание от цветов нетленных.

И опять голос прозвучал:

– Вынь жало своё, человек, остановись. Не торопи дней своих работой, заботой, не суди, не казни, не милуй. Убей желания, от них всё: болезнь, старость, смерть. Опустись долу, ноги согни, пятками упрись в живот, созерцай. Что видишь?

– Тело своё.

– Убей его.

– Грех ведь это.

– А хочешь войти под купол Времени?

– Любопытствую.

– Замечаешь ли рану? Болит? Сильно?

– Ох!

– Терпи.

– Мочи нет, «антоновым огнём» палит чрево. Лихо мне, лихо. Мясо с костей соскочило. Спаси, Господи!

Хохот в ответ, переборы гармошки, козье меканье.

Хочет подняться – не может: ноги кренделем заплелись, никак не разогнуть. Пополз. Червяком раздавленным тянется за царём растрёпанная плоть его, смердит мясо гнилое.

– Помогите! – кричит прохожим, а те мимо Времени спешат: бегут, едят, ссорятся, восхищаются, баклуши бьют, на работе сгорают, надеются, отчаиваются, верят, глумятся, детей рожают, воюют, плавают, на коньках катаются, землю обрабатывают, дома строят, на скрипке играют, спят, танцуют, украшают, уродуют, засыпают, просыпаются, полы моют, сено косят, шкуры выделывают, столярничают, иконы пишат, стихи сочиняют, на сцене играют, на самолётах летают, рыбу ловят, стерегут, расхищают, собирают, мечтают, празднуют, за детьми ухаживают, законы пишат, обедают, сигареты курят, вино пьют, путешествуют, празднуют, молятся...

Никто не слышит Ивана. Правда, один остановился. Книгу, что внимательно читал, закрыл, спросил:

- Вы кто? Йог?
- Царь я, Иван Четвёртый.
- Грозный?
- Не знаю, может быть и грозный.
- Сына убил?
- Не убивал, не убивал, вот те крест!
- Ещё убьёшь, – пообещал прохожий...

*Иван взмолился:*

- *Господи, пронеси мимо чашу сию!*

Ох, муторно-то как по земле елозить – никто ему так и не помог. Вдруг слышит:

– Восстань, раб Божий, иди за всеми. Видишь, все грешат. И ты не мечтай ни о безгрешности, ни о праведности, не возносись перед людьми, смиришься и не казни себя за то, что падаешь. Что наши грехи и добродетели? Они от Бога.

– Кто говорит? – видит Иван склонённую голову над ним, видит руки девичьи, они раны его голубым платком оттирают от крови. Унялась боль, зачерствели раны.

– Ступай назад, царь, не можешь ты ещё под купол Времени войти.

– Как звать тебя, заступница?

– Мария.

– Откуда ты такая взялась?

– Не знаю, как и сказать...

– А, – догадался Иван. – Ты, видно, как та старушка дряхлая, безвременная и безместная.

– Так оно и есть, – согласилась девушка. – А сейчас – читай!

И увидел царь Иван слова, начертанные на куполе: «Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. А теперь пребывают сии три: Вера, Надежда, Любовь, но Любовь из них больше».



Удивился Иван словам сим. Любовь? Велика ли от неё польза? Никогда и не думал о ней. Помнится, любил лишь раз – Анастасию. Сколько горя принесла ему та любовь, через неё он и озлобился на весь мир, через неё и прослыл извергом: так сильно мстил он тем, кого винил в смерти своей любимой. С тех пор и не жила в его сердце любовь, боялся её царь, гнал из сердца нежность – мешают чувства мудрому правлению, от них размягчается душа, делается, как хлебный мякиш в квасе. Сколько лет казнился, мучил себя, роптал, Бога пытал: за что посылаешь мне тяготы эти, эту жестоковыйность? Вот оно, выходит, за то, что не верил в силу любви!

Девушка мудрая помогла, встряхнула сердце, освободилось оно от Иванова кулака, вырвалось из груди вольной птахой, овладело душой и телом.

*Легко поднялся с колен измученный царь Иван и вскоре оказался дома, в Москве.*

Казалось бы, хорошо знал он свой город, заботился немало об его украшении, строил дома, церкви возводил. Надлежало этому, ранее захудалому местечку, затерянному посреди лесов непролазных и болот непроходимых, стать, как мечтал государь, третьим Римом. Ныне предстала Москва перед государевым оком вовсе незнакомой, невыразимо прекрасной столицей. Грязные, пыльные мостовые, деревянные тротуары кособокие да щелястые выпрямились, площади все мрамором сияющим выстланы. Чистота да лепота! Вместо тени своей видит Иван Ангела-Хранителя, идёт тот впереди, укрепляет царёв дух. Заря – свет святой – по небу разливается, рассвет нового дня грядёт, предвещает грешному царю светлое завтра.

Спрашивает Иван белый свет:

- Люблю кого?
- Всех, – отвечают ему.

И, правда – котёнка приласкал подзаборного, собаку бродячую за ухом почесал, коня чужого по бокам охлопал, ребялёнка приголубил, босоного, сопливого, холопского. Лепота!

Добрался-таки царь до хором своих. Навстречу прислуга высыпала, как горох из спелого стручка, захала, запричитала над своим господином:

- Отколь такой? – заплакала нянька. – Как из аду выскочил.
- Оккультно-необразованный народ, – заметил парень в красной майке. –

Радоваться надо бы всем – царь сподобился дойти до портала Времени, это не каждому дано.

– Сгинь, окаянный, – набросилась на парня нянюшка. – Это вы его, скоморохи, давеча выманили и угнали ни весть куда!

– Это вам «ни весть», а нам хорошо ведом тот портал, мы со временем «на ты»! Запросто ходим туда и обратно, по всей истории русской, всяких царей, князей, государей, императоров и вождей повидали, видим и ещё видеть будем, вредили и ещё вредить будем.

Никто, конечно, тех слов чудных не понял и внимания на них не обратил. Надо было сперва Ивану царский облик возвращать, ведь опаршивил вконец: борода клочками, волосы в колтун сбились – вид богомерзкий. Отправили царя в мыльню!

Иван на полке голый сидит, млеет от духовитого пара. До того доволен, до того рад. Мовнику за усердие руку облобызал. Тот чуть с полка не свалился:

– Должно быть, померещилось, должно быть, от угара очумел малость – на трезвую голову такое не привидится. Чудо! Сам государь мерзкому смерду руку лобызает, как какому-нибудь митрополиту. А тут ещё новая притча: эвана, что надумал! Прощения просит: мол, не обидел ли чем, не прибил, не обругал? Батюшки светы, как такому не быть? На всё воля царская – казнить людишек своих тёмных. Шишка с головы так и не сойдёт, кую пору: шайкой огрел за наше нерадение об их царской чистоте!..

После бани поднесли царю квас в золотом ковше, так он пить не стал, пока всю челядь не обнесли царским напитком. Худые людишки стали первыми, а родовитые – последними: на все воля Божия!

Так же и за трапезой. Первенствующие ранее бояре ныне на задних лавках сидят, переглядываются, перешёптываются: что может такое означать? Ох, не к добру новые порядки. Страх объял.

Пуще всех оробел бес, враг невидимый, к душе царёвой приставленный сатаной: как теперь вредить будет царю, самой Марией Голубой заговорённому? Стреканул молнией в преисподнюю докладывать. Начальство адское докладом так озлобилось, что приказало царя Ивана голодом уморить.

Сели обедать. Яств наставлено много и заморских, и своих, питья невиданного – глаза разбегаются. Навалили царю на блюдо всякого мяса: лебедь жареную, дичь боровую, кабанину закопчённую – не дотронулся. Пожаловался прислуге:

– От мясного что-то отвернуло, нельзя ли постненького? Принесли пирогов, печеньев, киселей, фруктов, и опять не потрафили.

Никто и не заметил, как бес всю пищу испоганил: в пироги яблочные, в варенье княжевичное, в пряники медовые полыни насыпал. Встал из-за стола Иван, поблагодарил Бога, поклонился всем земным поклоном, ушёл в келейку свою. Как только её отпер и оказался на пороге, так и застыл в недоумении: кто же сюда столько еды дивной приволок? Видит царь кусок хлеба ржаного, пучок лука зелёного, стакан водицы родниковой...

Бес взвыл, побежал начальству докладывать: не вышло!

– Должно быть, царю сам Ангел-хранитель питание доставил, я через замочную скважину подсмотрел.

– Ну, тогда доберёмся до Ивана через бояр-вельмож, смутой допечём, беспорядками. Дерзай, слуга мой хреновый!

И началось в государстве такое! На многие годы хватило легенд и сказаний о тех временах.

Долго терпел царь такое нестроение, долго думал, как ему быть. Если станет налево и направо всех миловать, то погибнут труды его государевы, а если начнёт власть и силу свою показывать, то сатане только этого и надо. Молился Иван Деве Богородице, просил у неё, чтобы прогнала от него искушения, освободила от уныния, от хульных помыслов, от кровопролития, которое, как он понимал, неизбежно при сильной власти.

«Но Богу ведь все возможно, – рассуждал царь Иван, – и раз помазал он меня на царство, то и это учёл: можно, наверно, так править, чтобы никого не обижать. Всё дело в гордыне.

Гордыня ведёт к своеволью и рождает смелость перед Богом – никого и ничего не боюсь, мне видней, как править страной, кого казнить, а кого миловать».

– Будь осторожен, царь, – услышал он знакомый голос.

– А, советчица, – догадался Иван, – что на этот раз скажешь?

– Скажу, что любовь выше справедливости. Любовь не знает гордости, в коей – главный грех. Вынь жало: не убивай, не казни, хоть кто, на твой взгляд, и виновен. Полюбишь преступника – сокрушишь гордыню.

– Постараюсь, – пообещал царь.

Дева только вздохнула:

– Дай-то Бог.

А Ивану и правда вдруг сделалось хорошо, на сердце – тишина и покой, словно гора с плеч упала. Не надо никого подозревать в измене, искать крамолы, охотиться за преступниками, можно открыто смотреть на людей и мир вокруг.

Раскрыл Иван Евангелие святое – легко читать, когда душа на месте.

В это время бес вернулся. Сунулся к царскому порогу, а пути к царю нет. Гора перед дверью навалена и смердит так, что даже нечистому стало тошно.

– Что здесь лежит? – спрашивает.

– Царёва гордыня убиенная кончается, – отвечает гниль вонючая.

– Как же я без тебя? – заскулил бес.

Топчется бес близь келейки царской – не может без гордыни до царя добраться, а её вымели с порога, да ногами растаскали.

– Что за дела? – возмутился сатана, – раньше я с Иваном никаких забот не знал, что нашепчу, то и делал. Это все Она, Мария Голубая. Ненавижу! Однако есть ещё один козырь. Не промахнусь!

Сын царский гулял во дворе, молодая боярышня в саду крыжовник рвала. Подкрался к ней прислужник дьявольский, тянет за собой, боярышня понятия не имела, как она вдруг под царскими окнами оказалась да в объятьях молодого царевича, как уста его к её устам потянулись, как обнялись они крепко-крепко. Иван в это время в окошко глянул. Обмер. Обнимает неверный сын девушку, которая и самому царю любя. При всем народе!

Съёжилась душа от лютого крика:

– Слушал тебя, проклятую, поверил тебе, Голубой. Вот она любовь человеческая! Хуже скотов! Замахнулся палкой, железной, пудовой, ударил ею с размаха, охнула душа, свалилась за смертью.

Бес в ладони забил от радости, кинулся по кустам гордыню царскую собирать, а та уже и без него оживает: кусок к куску лепится, срastaются они в одно целое, прах из пыли встаёт. От обиды и ревности ещё злей, ещё огромней становится Иванова гордость.

Царь на полу лежит без чувств – душа омертвела. Бес гордыню к нему подводит, грудь царскую отворяет без препон и сопротивления, вталкивает ожившую... И возгордилась она, подняла члены свои. Мёртвый из мёртвого восстал, бездна бездну призвала.

Ох, берегись, царевич! Ох, берегись!

Царский сын посреди двора пень-колодой стоит, не помнит, не ведает, что с ним случилось. Вокруг него скоморохи бесятся, хохочут, кувыркаются, смеются в глаза.

– Почему кричат, над кем смеются? – спрашивает царевич свою душу.

Смутилась душа, ей бы сразу покаяться, что не уследила за бесом.

Промолчала, робкая, не призналась, слабая. Царевич только смуту внутреннюю чувствует, а отчего она – не поймёт. Скоморохов отогнал от себя:

– Прочь ступайте! К батюшке грозному зовут слуги.

Ох, берегись, царевич. Ох, берегись!

Бес рукой царёвой по бумаге водит пером гусиным, смертный лист на сына строчит.

Но погубил дитя своё не приказом, не чужой палаческой рукой, а собственноручно.

Голову окровавленную обнимает отец, прижимает к груди, зовёт лекарей. Как стебелёк сломленный никнет голова, помертвелая. Обезумел Иван, глаза из орбит вылезли, вдруг разом одряхлел, остарел, облысел.

– О-о-о! – стонет.

Никто не подходит к безумному, боятся люди приблизиться к душегубу, только одна Мария Голубая.

– Не осквернись об меня, – просит он. – Об пса смердящего, в калу лежащего...

Не слушает его Мария, плачет милосердная, плачет безгрешная.

Сын глаза приоткрыл, на отца смотрит, над отцом Любовь склонилась, едва слышно прошептал устами помертвевшими: «отец... родимый». Закрылись глаза, сомкнулись уста навеки.

У Ивана пронеслось в голове: «Вот оно, пророчество!» И пожалел, что не поверил ни старухе Пелагее, ни прохожему с книгой у портала Времени.

– Ах, – заплакал горько Иван, – почто ты, дева Голубая, ко мне, гордому, не пришла пораньше, может, тогда и лиха этого не случилось бы?

– Вот такие вы, человеки, любите только, когда потеряете. Смерть дорогу к душе мостит, убирает с путей сердечных мусор житейский: обиды, зависть, ревность. Прощение и любовь друг за дружкой идут.

– Как мне жить теперь?

– Тремя делами: слезой, покаянием, милостыней.

– Да я всегда милостыню раздавал, каялся за убиенных, плакал и молился.

– Теперь научись любить. Я с тобой.

– За что жалеешь? Я же изверг.

– За душу твою великую, пусть и такую грешную. Не фарисей ты, а мытарь. Много добра ещё можем нажить с тобой, царь: просторно любви в душе просторной.

– Кто мерил любовь?

– Она неизмерима. Один только Господь ведаёт, сколько её вмещает человеческое сердце, потому что она от Него.

– Может ли разум смертный понять прощение Божие?

– Оно беспредельно!

– А суд Божий?

– Не тщись его осмыслить...

Голубое небо отражается в глазах грешного царя. Кони земли не касаются, по воздуху копытами перебирают, без шума, без звука, словно плывут по воде.

Везёт возок в Коломенское царя Ивана, отмаливать смертный грех. «Грозным», «злодеем», «сыноубийцей» прозовут его. Грозен ли, грешен ли, виновен ли? – Один Бог знает, Он и судит...

– Ау, матушка, – откликнулась старуха Пелагея из-за горы. – Мы же только свидетели.

## III

*Бьёт коня по крутым бёдрам,  
Пробивает у него кожу до мяса.*

Пастух Филька отсидел пять лет в Амурской области, а как вернулся домой, с тех пор и пастушит.

Ферма – душегубка коровья. Коровы полудохлые стоят по брюхо в навозе, на цепях.

Пастух – вертухай скотский, злодей, лютей паразитов-кровопийцев: мошки да оводов.

С самого утра орёт на коров, собакой Буяном травит. Гонит стадо к Волге. Сам верхом, плащ брезентовый, офицерский чуть не по земле волочится. Фуражка кегебешная с околышем синим на одних бровях только и держится – нет у пастуха ни затылка, ни лба.

Озорует пастух безлобый над конём за то, что спотыкается, над псом, что не слушается.

Коня хлещет батоном, пса – орешинной. Воеет от боли Буян, к бабке Анисье, глухой да слепой, восьмидесяти семи лет от роду, прячется под длинный сарафан. Та, хоть и не слышит, и не видит, а собачью жалобу принимает, ругает пастуха:

– Уймись, озорник, невытая морда! Скоту защиты нет: корова на лапы присесть не может, не спрячет голову, не уберечь ей тощие бока свои от сокрушительных ударов.

Начнёт Филька травить бычка полугодовалого рахита, выраставшего в мокроте стойловой без корма и заботы, а тому – куда бежать? Скок-скок по пахоте, на мостик через речку только было прискакал, а нога между гнилых брёвен застряла и – хрясь! – кость сломалась, жилы белые видать на сломе, мясо живое обнажилось, кровь потекла.

Пастух с коня соскочил, бросился к бычку, припал к ране губами.

*– Ау, матушки, – вышла из-за кустов старуха Пелагея, – волк у живого кровь отнимает. Волк на коне ездит верхом. Дождались времён: волки – пастыри!*

*Оглянулись люди, и правда, куда ни взгляни – одни хищники! С живого кожу дерут, кровь в открытую пьют, ничего не боятся. «Выкатились от жира глаза, нет их на работе человеческой, нет им ни страданий, ни смерти, крепки их силы – ожерельем гордыня на них, злоба и дерзость – наряд...»*

*Волчья шкура – вот их одежда. Кто даже и не волк, а старается и себе такой прикид добыть. Овцы в волчьем обличи, хоть и зубы у них тупые, травоядные, хоть копыта вместо когтей, а коль на плечах серая шерсть всё-таки спокойней: не загрызут тотчас, повременят, пока рассмотрят. Друг другу не признаётся, брат брату, сестра сестре, отец сыну. И в постели не снимают наряда своего, так что муж не знает, кто его жена: волчица или овца.*

*Волки в общаки сбились, ходят стаями. Ни ягнёнку, ни телёнку, ни жеребёнку подрасти, ни курёнку из яйца не выбиться – тут же волки разорвут. Ни пшенице, ни ржи полный колос не набрать, яблоку на ветке не выспеть – всё срезают на корню. Пни вместо садов, тернии вместо хлебов.*

*Волки в коже с головы до ног: сапоги хромовые, ремни и портфели из телячьей кожи, кресла и диваны... Сколько же для них пришлось животных загубить!*

*Слезли волки с коней, пересели в автомобили, в них по полсотни, а то и больше, невидимых лошадиных сил запряжено.*

*Волки за рулём – только пыль столбом!*

*Главный Волк – за кирпичной оградой, над ней звёзды горят, кровью отливают, от этого алого света даже в самую тёмную ночь видно, как днём. Круглые сутки охранники стерегут Волка, следят, чтобы муха малая не пролетела, какое там муха! Пылинку и ту на суд тащат:*

*– Откуда летишь, на кого работаешь? Шпионка?*

*Автомобили «мертвецы» водят, те, кто облик человеческий потерял, чья душа может стерпеть всё, что творится здесь.*

*Волку одного зарезанного в день мало, сотни мало, тысячи мало! Он и своих не жалеет прихвостней: чуть кто зазевался, того сразу – на расстрел. Звери матёрые под его взглядом в овец превращались: блеяли, скулили: «Не убивай! Прикажи только, я и отца, и мать, и детей своих сам к стенке поставлю!»*

*Волку хочется навести порядок. Стали сгонять невинных в общие стойла-бараки. Поди, как хлопотно гоняться за одним подозрительным, а тут, за проволокой – любого на выбор выхватывай! Хочешь культурного, с высшим образованием или учёного, художника, артиста, писателя; хочешь кого попроще, из выдвигенцев. У каждого зверя свой вкус, своя придурь.*

*По тем местам, где лагеря были – белые кости, кучи костей. Стали эти кости собирать, чтобы ими дороги мостить по вечной мерзлоте, города строить.*

*Лютовали волки, лютовали и видят: плохо дело, нет никакого прибытка от овец подневольных, надо бы в чужие земли податься...*

\* \* \*

Коллега:

– Опять в тупике? Затруднение законное. Эпоха, именуемая «сталинская», непроста, её в один волчий образ не втиснуть, Метафора приём ёмкий, но очень уж сухой. Образное письмо выматывает. Устаёшь. Нужно расслабиться. Советую «поток сознания». Пиши ни о чём, не обращай внимания ни на синтаксис, ни на грамматику, и особенно на пресловутую стилистику русского литературного языка по Розенталю.

Не думаю, что рассуждения придают вес автору. Кого сейчас удивишь мудростью? Гони лучше строчки, как можно меньше слов, вместо слов одни знаки препинания: точки, тире, точки с запятой, запятые, знаки вопроса, пробелы и знаки восклицания. Графически это ведь очень красиво, многозначительно, да к тому же никто в наше время не крикнет, что король гол...

Я лично обожаю всякие нескладушки-неладушки, правда, их придумать не очень просто. Есть среди них шедевры такие, как: «девять негрят пошли купаться в море», или: «жили-были три япони: цыпа, цыпа-дрыпа, цыпа-дрыпа-лимпопони. Жили-были три япошки: як, як-цызрак, як-цызрак-цызрошки. Вот они переженились: як-на цыпе; як-цызрак на цыпе-дрыпе; як-цызрак-цызроншки на цыпе-дрыпелимпопоншки». Класс! И читателю надо только глазами строчки пробегать, не задумываться, не определяться, где его место: на баррикаде или перед ней.

Я от вас заразился этой жуткой манерой все разьяснять. Не надо объективности, от неё уши вянут. Почему началась война? Вместо строчек только точки. Три страницы жирных

точек – красота! А волки? Они не только на советском пространстве разбойничали, но и сейчас на вашей Святой Руси их немало!

Автор:

– Я согласна: «обое рябое», как скажут в Украине, то есть «одно и тоже»...

\* \* \*

Старуха Красалымова оглохла от праздничных салютов, уже давно не слышит она горестных слов из репродуктора, потому что идёт наступление по всем фронтам, гонят наши войска фашистов с русской земли.

Просит старая Пелагея у святых угодников Божьих за всех воинов, сражающихся на поле брани, особенно за Петьку своего, разведчика.

Присылает начальство Петькино письма с благодарностью за то, что такого хорошего сына она воспитала. И, правда, таскает разведчик Красалымов «языков», как кот Барсик курят.

Сашка-москвич о ту пору в Канаде проживал, только что родившись на «октябрьскую». Родители его, шпионы советские, сынка хорошо пестовали: соками плодово-ягодными поили, витаминами кормили, чтобы рос крепким волчьим сыном.

А лесоводихи Лидки и козы Майки ещё и в помине не было.

– Как не было, – возразила Пелагея Яковлевна, – энти всегда были, греховодницы-то... Маша Поднебесина, как Петьку на фронт угнали, сильно переживала, голубка. Вечерами у тётки Поли чаи распивала, на траве-зверобое заваренные, вприкуску с лепёшками из картофельных очистков. Как-то раз и говорит:

– Пойду к Петеньке. На фронте без любви никак нельзя.

– Куда, девонька? Подумай только, как мы одинокими останемся, одно утешение в разрухе – доброе слово да ласка. А на войне тебя махоркой, вшами, непотребными словами удушат. Сиди, давай дома, чай пей.

Мария на те уговоры – молчок, только в задумчивости пальцем по клеёнке водит, старенькой, в трещинах. Кот Барсик, кошка Муська трутся возле ног, подставляют спинки для ласки.

– Захребетники, – шугнёт их для порядка хозяйка. – Брысь!

Коты не уходят, песни кошачьи заводят, внимания просят у Маши.

К тебе всякая тварь живая так и льнёт, ты всем нужна. Не уходи!

Простите меня, тётя Поля, не останусь.

– Ой, – запричитала Пелагея, – да как же так! На кого ты нас покидаешь!? Осрамят тебя мужики военные, погибнешь...

– Даст Бог, не погибну.

У Красалымовых на окнах цветов-то, цветов! Герань цветёт, китайская роза, а фикус целую кадущку занимает. Старуха любит за цветами ухаживать, говорит про них:

– Цветы – души живые. Мы их голосов не слышим, не разумеем, потому что глупые и грубые, слепые и глухие в нынешней жизни. Помрём, вступим в жизнь вечную, тогда всё и узнаем. Кто праведник, тот в Раю с нетленными цветами песни петь будет, поди, как отрадно!

А как Маша из-за стола встала, к дверям подошла, заскрипел порог старый, да так жалостливо, словно заплакал.

Вышла девушка из дома, подошла к ограде, а Пелагея Яковлевна – к подоконникам, одним махом все горшки убрала: не мешайте, цветики, Любовь на войну провожать.

Под гармонику уходила Маша из Горок Едимновских, под плач и стенанья. На улице уже полно нагнали парнишечек, все бритые да стриженные – не узнать:

– Этот что ли Нинкин?

– А губастый чей?

Настя-колдунья убивается – сын единственный...

Пригорюнилась мать Петьки Красалымова, глядячи на провода солдатские:

– Мой, непутёвый, жив ли в своей разведке?

Мария за толпой призывников пошла, а её никто не узнаёт – так, чья-то девочка прохожая, беженка. Одна лишь Поля Красалымова, свидетельница вечная, знает, что не простая это девица, Маша Поднебесина.

Тут как раз песню заиграли: «На позицию девушка провожала бойца...»

Видит старушка Пелагея, как растаяла на глазах Маша, белым облаком проплыла она над людьми деревенскими, обмахнула на прощанье девок и баб, оставшихся дома, покровом голубым, благословила:

– Любите без меня заочно своих дорогих, верьте и надейтесь на встречу.

Цветы опять Поля на подоконники водворила – красуются. Только уже осень на дворе. Берёза красалымовская вся жёлтая, падают с неё листья, на смородине зелень скрутило, грядки пустые – вся овощь в погребе. На поленницу скудную – много ли дровишек без сыновей помощи напилить и наколешь? – сыплется с небес редкий дождичек. Пригорюнилась мать солдатская: «Ох, сокрушат ноне дрова!» А тут две девчухи на порог.

– Чьи будете? – спрашивает хозяйка.

– Вера и Надежда, – отвечают.

– Такие махонькие?

Как взошли в избу девчоночки, так сразу легче стало старому сердцу, уж не болит оно, что картофелю всего шесть мешков собрала, что огурцов только на малую кадушку уродило, сено погнило, дрова – одна осина, валенки прохудились, самовар течёт, керосина нет, нечем лампу заправить...

Гостьи, крошки невеликие, разом и согрели, и напоили, светло и радостно сделалось в доме. Спрашивает Верочка:

– Что это в чугунке? Очистки? Возьми, бабушка, одну в руки, в кулачок сожми.

Послушалась Поля девочку, очистку в ладонь спрятала, чувствует, как она расти начала, разбухает, как на дрожжах растёт, тёплая да мягкая, такая духовитая!

– А теперь, – разрешили гостьи, – смотри. Пелагея руку разжала и обмерла: вместо очистки видит она хлебный мякиш.

Всплеснула руками – сроду такого чуда не видала. А дети довольные головками кивают и уговаривают:

– Ешь, бабушка, ешь.



Откусила кусочек, аж дух занялся от такого угощения! Уже и забыла, когда в последний раз хлеб настоящий пробовала. Долго во рту держала тёплый кусочек, не жевала, не глотала, вкусом его наслаждалась.

– Грешница! – вспомнила вдруг и выплюнула мякиш. – Забыла совсем, ведь у Катьки ребёночек помирает без материнского молока. Пойду, снесу, в тряпицу завернём он, пососёт вместо сиськи.

– Не ходи, – остановили двойняшки, – мы только что от неё.

– Где ещё были? К старику Первухину заходили? Он с голодухи весь опух.

– Его кашей пшённой накормили.

– А к Стариковым?

– Там пирог пекли.

– У Ленки-говорухи?

– Были, были... Её студнем потчевали.

– Во как! Признали вас, милостивых?

– Не-а! Пускать не хотели, гнали, обзывались «выковырянными». Мол, у нас батоны белые на ёлках не растут, так что подать вам нечего, ступайте, откуда пришли.

– Сами-то сыты?

– Нашу пищу ведаешь.

– Знаю. Радостью чужой сыты. Сели на лавочку девочки и просят:

– Бабушка премудрая, включи радио.

Боялась Пелагея Яковлевна вначале войны включать громкоговоритель, боялась услышать голос диктора, боялась узнать от него горестные вести о разрушенных городах, о людях загубленных, и всё удивлялась, как может его сердце выдерживать, как не разорвётся от горя.

Девочки притихли: у одной глаза зелёные – у Наденьки, а у Веры, как орех лесной, карие, смотрят они на бабушку, Вера и Надежда, слушают в красалымовской избе сводку Информбюро, что читает диктор всесоюзного радио Юрий Левитан.

– Пелагея Яковлевна, бабушка Поля, что плачешь?

– От радости, дочушки, от радости. Сколько слёз на Руси? Кто их сочтёт?.. Только слезой и спасёмся. Сердце русское – впереди ума. У иных народов оно, как груша-сушка, ссохлось, почернело без соков. Скорбь – сок сердечный...

Эшелоны, эшелоны, вагоны пассажирские, теплушки, телятники. Солдаты, беженцы, эвакуированные, раненые – текут реки человеческие через всю Россию.

Мария невидимо следует на передовую в воинском эшелоне.

Вечер. Колёса стучат. Кто курит, кто вспоминает, кто у лампы – гильзы от снаряда, бензином заправленной – сидит, пуговицу к гимнастёрке пришивает, а кто и письмо домой строчит

Мигает коптилка, тени по потолку мечутся. Мария на самом верху, у окошка притаилась, слушает.

– Всё. Конец, братишки.

– Кому как. Мне орден Отечественной войны первой степени.

– Да ты и так дурак первой степени.

– А чем плохо орден? Девки ордена уважают. Как это там, в песне поётся: «Когда вернёшься с орденом, тогда поговорим».

- А если у тебя немец хрен отстрелит? Целуйся тогда с наградой своей.
- Ни хрена! Хирург новый пришьёт!
- Немецкий?
- На кой мне немецкий? Может быть, твой в тазу найдётся...
- Свой я беречь буду пуце глаза.
- Глаз, действительно, в этом деле не главный орган. Была бы баба...
- Баба, баба... О бабах – забудь!
- Легко сказать! Снятся, подлые...
- Всё про баб, да про ордена! На смерть ведь едем...
- Остановка скоро?
- Кипяточку бы, тёпленького хочется...
- Ой, парни, вернусь с фронта – женюсь. Тапочки куплю комнатные. На теплоходе буду по Волге кататься. И что характерно, на палубе танцы...
- Корова не отгулялась, осталось теперь семейство без молока...
- Гармонь на комод, забыл спрятать – считай, пропала: либо ребятишки инструмент покалечат, либо баба...
- Мамка горлом болеет, уходил – плакала...
- Печь, слава Богу, успел переложить, дымить больше не будет...
- Учительница в деревне молодая появилась, москвичка. У нас с ней всякие дела были, всё по науке. Зачем только обучался, с кем на фронте то?..
- Забудь! От тоски пропадёшь, если думать будешь об этом...
- Тьфу! О чём бы не говорили – всё на женщин переворачиваете, племя кобелиное...
- Ты, дядя, не очень-то язык распускай, ишь как обзывается, а сам что ли не мужчина?
- По мне они – что есть, что нет.
- Да он, никак, ребята, гермафродит, титьки-то какие!
- Я энти «титьки» молотом кузнечным нажил. Ну, не балуй!
- Остынь! Не очень-то кувалды свои распускай, на фрица силы побереги, боров!
- За меня не волнуйся, а ему скажи, чтобы он, паскудник, языком не трепал.
- Закурим, – примирительно предложил Ваня Сорокин. – Угощайся махорочкой, кузнец.

Стелется дым табачный, заволакивает пеленой теплушку, пламя коптилки слабеет – кончается бензин. Устраиваются спать солдаты, сапоги стягивают, портянки разматывают, шинельки расправляют, чтобы лечь поудобней.

Сомкнулись веки, смолкли голоса, языки своё отмололи.

Опустилась вниз Мария, пошла между спящими. Над каждым наклонится и долго-долго смотрит ему в лицо...

Сон – пространство неземное.

Блудословы, гордецы, силачи, грубияны, упрямы, драчуны – все младенцы невинные во сне. Чему улыбаетесь, отрешённые от мирских забот?

– Учительница. Сероглазая. Издали на неё смотрел, когда журавлём воду их колодца доставала. Ручки беленькие, в синих жилках. Ведро ставит, вся дрожит – боится упустить, а силёнок-то маловато. Мне бы подбежать, помочь, да ноги с места не сдвинуть, так стесняюсь. Господи, неужели идёт ко мне навстречу?

– Да нет, Ваня, во сне всё это, снится.

– Нет, не снится. Не сон это, а правда. Платье голубое, сама похожа на паутинку лесную – лёгкая, прозрачная, нежная. У-чи-тель-ни-ца. Хочет спящий сказать:

– Здравствуйте, Вера Николаевна, простите меня за слова глупые про вас. Вернусь с фронта, учиться пойду, а то я вам не ровня – незаконченное среднее у меня, а у вас высшее образование. Надо понимать. Орден не для девок, орден – для вас. Я его обязательно заслужу...

– Милый мальчик, вы же мой бывший ученик. Вы же ещё совсем ребёнок. Понимаете?

– Не любите, значит?

– Не обижайтесь.

– А я к вам, дело прошлое, в комнату самовольно заходил. На столе одну книжку увидел – стихи. Запомнил с первого раза эти два слова: «нетленная краса». Про вас.

– Что ты, Ваня! Это же Тютчев. Он, действительно, любил красавицу.

– Всё равно вы лучше.

– Полно.

– Я вас люблю.

– Люби, милый. Вернёшься – поговорим, а пока люби. Так сейчас тебе надо – любить.

– Не уходите.

– Пора, Ваня.

Покинула Ваню его краса ненаглядная до следующего раза.

Мария – дальше.

Жена Ксения не слышала от него никогда слова: «люблю». Серьёзный человек, Герасим Бабкин. А тут...

– Ксения, Ксюша, любушка! Иди ко мне.

– Иисусе Христе, «любешкой» назвал при детях!

– Во сне, во сне, жена. Каждую ночь снишься. Если бы не снилась, подход бы с тоски. Хорошо-то как обнимать тебя. Косы твои – нет ведь ни у кого в деревне, чтобы лучше твоих были. Золото, кудель, Ты их не мучай, в узел не вяжи, распусти. До смерти одну тебя любить буду. Если примешь кого без меня – мне не жить!

Отошла Мария от Герасима-кузнеца, а вот ещё один спящий.

– Ох, стрекоза, ох, достану тебя, не отвертись! После победы в загс поташу. Стреножу штампом. Что глазами-то косишь?

– Много вас таких. Суженный мой – принц заморский. Он мне на свадьбу тувельки подарит, жемчужные на бриллиантовых каблуках.

– И во сне дразнишься, говоруха.

– Сон наш с тобой кончается.

– Жди, пока опять приснишься...

*Сидит Мария среди снов чужих. Толпятся вокруг неё хороводы. По лугам, по полям, по тропинкам, на опушках, на улицах, в парках и сквериках – хороводы любимых. Все красивые, все верные. Птицы поют: кому жаворонки, кому соловьи, кому кукушка кукует в июньском лесу...*

*Любовь – свет от светильника Божьего.*

\* \* \*

- Господин полковник, вот пленная.
- Очень хорошо. Девушка?
- Так точно.
- Проверял, есть вши?
- Никак нет.
- Шпионка? Партизанка?
- Не могу знать, ещё не допрашивал.
- Тогда веди.

Два солдата в сапогах с короткими халявами, на плечах шинели мышиного цвета, на ремнях белые алюминиевые бляхи с надписью: «с нами Бог», втокнули в блиндаж Машеньку Поднебесину.

Немец от удивления дара речи лишился – до того хороша показалась ему пленная русская. А Машенька не вскрикнула, не вздрогнула, не заплакала, не закричала от страха, спокойно на немца толстого и уже пожилого смотрит.

Слава кротким!

Герр оберст тоже с русской глаз не спускает, а сам про себя удивляется: что это такое с ним происходит – любовь? Так ведь не в его возрасте влюбляться, да он о ней, настоящей, не ведает. Очень и очень давно, юным студентиком распевал сентиментальные песенки со словом «либе». Потом повторял, как попугай, за роскошной женщиной и популярной певицей Заррой Лиандер слова любовных шлягеров, которые тогда кружили головы молодым. У него же дальше этого ничего не шло, любовная тема души не касалась – только тела.

В Кёппенике с девчонками он любил поваляться в кювете, наслаждаясь замешательством автомобилистов, когда фары их машины случайно выхватывали из темноты его голые ноги и зад.

Офицером кутил в борделях, перепробовал многих женщин из покорённых стран. Для этого занятия есть научное слово: «секс», а «любовь»? Что это такое? Лореллея? Так ведь это безумие, это гибель, это старая сказка с плохим концом: «Думаю, волны, в конце концов, поглотят лодочника и его чёлн, и это сделает пение коварной русалки Лореллеи».

Недоволен собой полковник: странная тревога завладела его мёртвой душой.

- Ферботен! – приказал сам себе герр оберст. – Запрещаю. Это провокация!

Смотрит разъярёнными глазами немецкий полковник на русскую девушку, которая кротким взглядом окидывает блиндаж вражий.

- Имя?! Фамилия? Сколько лет? Национальность? Еврейка?
  - Мария Голубая, вечная, русская любовь.
  - Это невозможно! Что такое русская любовь? Что значит «вечная»? Ты же живая, а живое должно умереть. Сейчас мы тебя расстреляем, тогда узнаешь...
  - Не могу я умереть, – возразила немцу Мария. – Я – нетленная, я – бессмертная.
- Немец покраснел от возмущения, пистолетом тычет в девичью грудь: что это за нация идиотов?! Адъютант Курт вмешался:

– Славянская мистика. Когда их расстреливают, они кричат одно и то же: «Нас не убьёшь».

– Но ведь этого нельзя допустить! Должен же быть порядок! Живые живут, а мёртвые умирают. Расстрелять немедленно и на моих глазах.

Немецкая пуля Марию не взяла, она её, летящую, легонько так, словно муху назойливую, рукой отвела и спокойно вышла, оставив в шоке и полковника, и его адъютанта, и конвоиров.

\* \* \*

*Любимый, любимый! Зачем цветы губишь? Ромашку сорвал – бросил. Василёк, звездичку, колокольчик, смолку, лютик жёлтый, горицвет, горечавку синюю, вьюнок полевой, бессмертник, лапчатку ночную красавицу, барвинок лазоревый растоптал. Не отцвели они ещё, мёдом, пчёлами несобраным, ещё полны, ароматы ещё не выдохлись, не успели расхитить дары свои: пыльцу да нектар, сохнут теперь, вянут в пыли мухам помойным на потребу.*

*Наклонись, любимый, оживи тобою загубленное.*

*В силе ли? Как думаешь?*

*Головой качаешь: «нет, не смогу, что упало, то пропало».*

*Посей на мёртвом живое.*

*Распни себя на кресте, залейся горячей слезой – воскреснет всё в Слове.*

*Любимый!*

#### IV

***Красота в лице его потребишися,  
Очи его погубишася,  
А зрение помрачишася.  
Стал он, как убогий:  
Только один его остов.***

Петя Красалымов, окунь красноглазый, зубы – впереди лица, нос – на губах, глаза вот-вот из-под век попадают шарами белыми в кровяных трещинках-прожилках.

Алкоголик Пётр Николаевич, известный на все Горки. Живёт в доме старом, отцовском, выстроенном покойным Николаем в ту пору, как они с Поленькой из Петрограда вернулись.

Топорщится пером вороньим крыша, дранкой крытая. Пороги скрипят, полы гнутся, рамы прогнили, стёкла на одной краске и держатся. Грязь, запустение, кругом рухлядь пыльная, дореволюционная.

Матушка, Пелагея Яковлевна, спит на постели, как цыганка, не раздеваясь.

Огород у Красалымовых небольшой, в саду перед окнами три яблони, одичавшие без ухода.

Весной старая Поля кое-как картошки разбросает по земле, на гряды семя огуречное высыплет, морковь посеет, лучок куда попало повтыкает. Картошку не окучивает, гряды

не полет – всё с матушкиной молитвой да с Петькиным матерком растёт само по себе, само по себе вызревает и урожай даёт не хуже, чем у других, которые в поте лица трудятся.

Озлился сыночек на весь белый свет.

А почему? Кто виноват? Мать!

Мать виновата. Зажилась старуха. Девяносто лет. Никуда не годится: ни сварить, ни прибраться, ни постирать. Слаба телом, но в полном разуме. Всё, матёрая, видит, всё замечает, про всех всё знает. День и ночь Петьку ругает и корит:

– Трепло худое, пьянь, пирожок ни с чем! Как не слезу за тобой, так ты лопухом придорожным развеваешься. Ох, трудно без помощников. Про невестку, Нину Семёновну ничего плохого не скажу. Хорошая женщина, умная, самостоятельная, бухгалтером в колхозе работала, её вся деревня уважала. Глянь, какая краля на снимке: глаз чёрный, бровь крутая, щёки полные. Орден она получила, за хорошую работу наградили. Четырёх детей вырастила, почитай, одна – от Петьки мало было толку. Мучилась, бедная, двадцать лет. Не знаем, куда от нас съехала, ни одного письма не написала. Говорила ей: «Ты видная, солидная, а он – бусурман, с самого детства такой». Нина Семёновна мне не верила, защищала мужа: «Петька талантливый! Люблю его, какой есть». Талант!? А что это такое, какая от него польза. Талант он ведь, как каштан – выпадет из скорлупы и покатится, куда хочет. Первое время хорошо между собой молодые жили. Петька хоть и всего пять классов учился, а писать мог, как писарь, с завитушками и по арифметике тоже успевал. В её дела вникал, помогал считать. А крестьянствовать не любил, с малых лет воротил нос от земли. С фронта вернулся хромым и глаз один кровавой – прилив от конфузии.

Это он в своей разведке пить научился. Вот как получается: смерти все боятся, а водки – никто, а ведь она хуже смерти, потому что душу живую убивает, и без души нет человеку жизни ни на земле, ни на небе.

Мужиков горкинских много поубивало. Петьку в клуб взяли, заведующим. Эвона, нашли кого пускать на безделье! Он должность свою на замок, а сам на гулянку с гармошкой, чтобы вольно, безо всякой агитации из колхозного правления.

Тогда и заметила наша бухгалтерша Петьку. Как не заметишь, если он по деревне – первый мужик, весёлый, разбитной. Ещё и картины рисовал, ножи с секретом мастерил... Знаешь, что скажу тебе: кто к земле неприученный, у того жизнь нескладная. От земли-то вся цепкость в человеке. Мои служащими считались, жалование получали и паспорта имели. Бумажки! Что в них? Огород да поле – еды вволю; болят плечи, зато пирог в печи. А Петька крестьянствовать не любил. Рога лосиные – тьфу! – в печи варил, печь поганил, на забаву охотникам из города, им же ещё и ружья чинил, и сказки-байки болтал.

У болтливой дорожка – к магазинному порожку.

Доигрался, допелся – сняли его с заведующего. Детей кормить нечем. Говорю им: корова, мол, нужна. А сынок мой: «В егеря пойду, лосятиной, зайчатиной, утятиной закормлю, от твоего молока только рахит в костях».

Егерь, что пёс пегий: ни чёрный, ни белый, а так, стручок неспелый. Зачем на земле живёт, тварь божью травит?

Жена – в заступки: «Мама, вы неправы, Петенька лес знает, как свои пять пальцев, он и животным, и птицам подражать может, справится».

Как ещё справится, а то в кипятке сварится! Рак тоже хвалился, пока за сеть не зацепился. Вытащили на бережок – цена-то пятачок! Испёкся сыночек: жена бросила, теперь-то и

вовсе общественный. Каждый к нему бежит: «Пётр!», «Пётр Николаевич!», «Красалымов!» – именем ли, прозвищем зовут, а солидности всё одно нету. И в дружках одна шантрапа: Павлик, Настька, Софья Ивановна, полковничья вдова, хулиганьё ещё: Славка да Борька-пастух. Приезжие, кто не знает порядков, те тоже зовут его: кому свечи для мотора, кому ножовку, кому ведро поганое для бензина. Чем огурцы полоть, траву косить, ему лучше по-мирскому: халай-балай, бутылка красенького...

...Бутылку заслуженную Пётр Николаевич распивает, сидя в лодке «красалымовке», всегда один, чтоб никто не мешал и делиться не надо было. Лодка – борта бордового цвета с вензелем писарским на носу: «К.П.Н.».

В любую погоду, невзирая даже на грозу, сидит в ней Петя. Бабка Поля в избе крестится, при каждом раскате грома, пёс Полкан с цепи рвётся – напуганный. Однажды молния рядом с будкой в столб ударила, теперь он, как молнию увидит, ошейник лапами снимает, с каким бы секретом тот не был и – в дом, под кровать прячется.

Пётр в лодке заливаётся: «Окрасился месяц багрянцем и волны бушуют у скал, в такую шальную погоду нельзя довериться волнам...» Разговаривает сам с собой, рассуждает при полной тьме кромешной:

– С чего мужики тонут? А с того, что в лодке на лавке сидят. А я пьяный никогда на неё не сажусь, я лучше – на дне. Пьяного мотор укачивает, он, если на лавке сидит, обязательно кувыркнётся, моторка без руля начнёт кружить куда попало, выпадешь и – под винт, полная хана, забвение жизни. Лодка тебе не изба, лодка – это тебе истинная стихея! «Нельзя, грит, доверяться волнам!» В избе пусть старухи сидят, коты да кобели, вроде Полкана. А я?.. «С белым светом я распрощуся и в землю хладную уйду...» Думаешь, не знаю такого зелья? Знаю. Всё знает разведчик Красалымов... А старуха пускай живёт, хрен с ней!

\* \* \*

Нынешним летом дачников-москвичей – как тараканов. Жара из города выгнала, припекло: больше месяца – ни дождинки. Красалымовы и баньку сдали, и избу старую и даже «скворечник» два на два, именуемый Петром Николаевичем «мастерской». От всего корыстьвыгода, в день по полтиннику.

Толстяк-пенсионер хотел строиться в слободе, да раздумал: здоровья нет, живот весь изрезан, купался голый, так пастух видел, потом рассказывал. Пенсионер «квартплату» перевёз: лес, железо, рамы и двери, а жить не стал.

Материал Красалымов взял больше для виду: мол, ремонт буду делать дому, венцы подымать, крышу крыть. Наврал всё.

Лето кончилось, дачники разъехались.

Снег. Едрит твою в коляску! Глянь, мать, снег идёт...

Как жить будем? Старуха Пелагея ёжится, коты хвостами носы греют. Берёза красалымовская оголилась, на ветках рыхлый снежок. Весь «материал» зима забелила: рамы, доски, железо бесхозное... Сашка-егерь с Зимарем-прихвостнем мимо идут. Остановились, брёвна сапогами качают.

– Наша сосна, – говорит Зимарь. – Спросить надо, почему без разрешения.

– Пустое, – осёк его егерь заволжский. – Это же Петра Николаевича имущество.

– Ха, – прищурился Борька, – поняли, значит, нашу действительность. Петька – главный гвоздь, по уму вбит, если его клещами вытаскивать, можно и без глаз!.. А быстро же вы обрусели...

Белый петух скок на ограду, крыльями замахал, кукарекнул, посмотрел на прохожих глазом красалымовским: веко красное, вывернутое на изнанку.

– Здравствуйте, Пётр Николаевич, – поприветствовал его егерь, бывший сын генеральский, бывший спортсмен-разрядник, бывший москвич-дачник. Петух мигом – на землю, сник в голом огороде. Сашка довольный рассмеялся:

– А как же вы думали, Пётр Николаевич? Кто меня камни небесные грызть учил? У Зимаря разом шкура слиняла: овца перед волком. Волк зубы оскалил.

– Ау, матушки, – залилась Пелагея, вечная старушка, – опять волки-оборотни по Руси проскакали. Прольётся чья-то кровушка невинная...

Невинная кровушка – роса жгучая, обиженных просветляет и укрепляет, а обидчиков разрушает до пепла серого, до угля чёрного.

Кто любовь отвергнет, кто обидит её, тому всю жизнь плохо будет. По земле тем обидчикам ходить, подошвы жечь, болтаться между людьми сумой перемётной. Любовь два раза не встречаются. Если первый раз не узнаешь, не примешь – тенью обернётся. Будет такой человек за тенью бесплотной бегать: та ли, эта ли? Опять не та, опять не эта...

\* \* \*

Петька Красалымов не узнал Марию, не узнал любовь, обидел её на фронте.

...Долго шла Машенька по русской равнине посреди смерти и жизни пока не нашла своего разведчика.

Пётр солдатский кондёр хлебал из погнутого на боках котелка. Девушка рядом присела, смотрит да любит. А чего смотреть? А чем любоваться? Росту её любимый невысокого, кривоног, лицо чумазое, чешет под гимнастёркой тело давно немытое, гоняет вошь окопную.

Поел солдат супцу, котелок и ложку отёр рукавом, спрятал в вещмешок и сел в карты играть. На кон игроки ставят вшивый загреб – кто проиграет, тому всех вошей за шиворот. Смех!

Кончил играть, кисет вынул с махоркой, от газеты клочок оторвал, слюнявит козью ножку, цыркнул зажигалкой трофейной, затянулся. Под первую затяжку, самую сладкую, вспомнил радистку. У неё сапожки хромовые, юбочка в обтяжку, гимнастёрка на грудях аж трещит. Не девка, а настоящая коза-дереза.

Маша мысли Петины читает:

– Остановись, остановись, разведчик, не соглашайся на блуд! Тело женское тянет к себе, каждый кусочек в нем лакомый – так бы и съел. А как насытишься, натешись, что дальше? Пусто? Тело от тела питается. Тело – предельно, душа – без предела. Не отдавай, Петя, душу свою в предел телесный, не беги за радисткой.

Куда там!

Открыла Мария лицо своё перед любимым, а он смотрит, но не узнаёт, подумал на неё, что это девушка чужая, незнакомая, может беженка какая. Худая, одежда на ней ветхая:



жакетик плюшевый, юбка вигоневая старая, один только платок на голове новый, лазоревый, как небо над Волгой.

– Помнишь ли, солдатик, – спросила, – Машу Поднебесину?

– Машу помню, а ты откуда взялась? Ишь, как исхудала. Голодная, небось. Хочешь, суп принесу или кашу из пшеничного концентрата.

– Не ходи, Петя, за кашей, лучше посиди с Машей.

– Мне с тобой сидеть нет никакого интереса – худа, как щепка, не за что и подержаться.

– Не обижай, я ведь из плена бежала, – отвечает суженая и руки на плечи кладёт.

– Отвяжись! – отстранился Петька. – Своей вши хватает, чужая, поди, злее... Вот она, вот она, слеза горькая, от обиды пролитая, она по следу обидчика бежит, прожигает землю.

Обидчик прямым ходом в штабной блиндаж к радистке своей. Та в блиндаже одна без начальства. Свободное время очень ценит девушка, старается за собой следить. Вот и сейчас, зеркальце в руки и ну кремом «Метаморфоза» свои щёчки увлажнять.

Встретила разведчика сначала очень неприветливо:

– Очумел? – спросила недовольно. – Гонится за тобой кто, ишь как задохнулся.

– Одна?

– Ну, одна, а дальше что?

– Сейчас узнаешь, – пообещал Петька и повалил радистку на нары.

– Ой! – притворно взвизгнула она.

– Да ты хоть бы сапоги скинула, – протянул Пётр, задетый её податливостью. – Как есть, коза ты бесстыжая.

– Деревня! – осадил его девка, опытная в любовных играх. – Причём здесь сапоги, они же не мешают, времени и так в обрез, того и гляди полковник вернётся. Так что давай, работай, я тебе не дева преподобная...

Не человек эти слова сказал, а кто-то другой мякнул козым голосом, не девичье мягкое тело сжимает в своих объятиях разведчик Пётр Красалымов – пустое место обнимает, не чувствует его ни губами, ни руками. Глаза протёр – нет никого, только на полу крем «Метаморфоза» валяется в стеклянной баночке.

Вышел из блиндажа. Сердце ноет, болит: задушил ли кого, убил, зарезал?

Предвесть тебе, раб!

Марию, Машеньку Поднебесину, любовь первую не признал, не допустил к сердцу, не прижал к груди её, бесценную, гостью небесную, а бросил козе под хвост. Будешь теперь всю жизнь без любви. В обратный след вступишь, там только тень без плоти, там только душа пустая без державы. Простится ли такой грех, замолишь ли его? С фронта вернёшься только телом живой, а душа – мёртвая.

\* \* \*

Все с телом и душой рождаются. Тело видно – оно растёт. А душа? А ум? Где они? Их не видно.

Ум всё съест, его, как поросёнка корми хорошенько, так он в свинью вымахает. Поступай по уму, сыт будешь, да ещё и останется, чтобы продать лишнее, а там, глядишь, и дом новый построишь или квартиру купишь, женишься, детей нарожаешь.

Ум – богатство и живот полный.

Ум телу заступник, а душе преступник.

Что душе? Тяготы, скудность, терпение: не судить, не хулить, не стыдись получать, не жалеть отдавать, собой не докучать. От всего этого душа растёт, а ум жухнет, как трава сырая.

Что душе – «да», то телу – «нет».

Ум с душой за тело борется. За умом нечистый прячется, он зерно полное портит плевелами: сеет сомненья, рассужденья, осужденья. Душат душу сорняки, теснят её, оборачивают кротость в гордыню, доброту в расчёт, любовь в ненависть и ревность. А ты, душа, смотри! Кто власяницу открыто носит, кто вериги – напоказ, тех сторонись.

Всё чистым родится: и тело, и душа, и ум. Если ум растить, как душу, он в гости мудрость призовет. Тогда все трое к Богу дружно пойдут: тело без блуда, ум без ропота, а душа с любовью. Тогда тело – образ Божий, ум – советчик мудрый, душа – проводник в вечную жизнь.

Кто праведностью хвалится, тот разве мудро поступает? Ох, нет и нет! Зачем святостью дразнить? Про такого сказать могут: ишь, какой нашёлся, а может, мы безгрешнее тебя?

Начнут примерять на себя наряд святой, а тело-то балованное, а ум-то повреждённый, с душой разлучённый. Не годится никак такая одежда, снимай поскорей: и колется, и ёжится, стеклит да холодит. В оправдание своё спор с праведниками заведут: для чего нужны такие трудности, разве Богу угодны мучения да теснота?

Спор – поприще сатанинское, он ум от души отрывает.

## V

*Ох, вы собирайтесь, лютые звери,  
Вы съедайте моё белое тело...*

– Бабушка миленькая, ребёночек плачет!

– Кажется...

– Не, правда, плачет. Я же слышу.

– Это у тебя в грудях молоко, оно в голову ударяет. Завяжись потуже. Дай, шалью перетяну, чтобы крест-накрест. Какая больше болит? Левая? Терпи, терпи, все женщины такое терпят, не ты первая, не ты последняя. Терпение у всех разное: одна все уши надорвёт своим оханьем да жалобой, а другая – только губы сожмёт до синевы, а ни звука не проронит. Тем легче, кто кричит. Ты кричи, кричи, я ко всему привычная. Поплачься, пожалуйся, мне, убогой старенькой старушке. Сердце моё с миром примирилось, отвоевалась я. А ты своё чувство не унимай, ты ещё молодая, тебе страдать, скорбеть, чтобы душу уберечь. Кто мучается, тот живой, а нам, старым, пора на покой. Бабы-то не только ребятишек родят, но и взрослых мужиков в подолах своих приносят.

А ведь правильно сказала Поленька Красымова, она хоть и тёмная, необразованная и не владеет нормами современного языка по Розенталю, а попала в самую точку.

Любовь в человеческом сердце так похожа на зачатие! Неизвестно по каким законам она возникает, за какие заслуги получает человек этот небесный дар.

Жил-был человек, он ел и пил, как все люди, но вдруг стал сам на себя не похож: говорит, смотрит, ходит теперь совсем по-иному. Не говорит, а поёт; не смотрит, а благоговейно взирает; не ходит, а летает! Со всеми приветлив, всем помогает, не ругается ни с кем, всех жалеет и старается каждому сделать что-то приятное. Так и с тобой, Леночка, случилось. Помнишь ту весну, тот день погожий, солнечный, как шла по знакомой тропинке мимо домов за заборами, собак в будках, палисадников с жалкими цветочками, старого тополя у колодца. И вдруг ты увидела его, возможно, он тебя вовсе не заметил, а так, по привычке, просто скользнул взглядом по молодому личику, но ты-то, ты-то! Ты вся затрепетала от этого взгляда, ты почувствовала, как дрогнуло сердце, как толкнулось в него что-то неведомое, и толчок этот был похож на толчок не родившегося ещё младенца во чреве матери, который засвидетельствовал, что он есть.

Мать рождает дитя и мать рождается сама, потому как жизнь её меняется в корне. Другие задачи ставит перед ней это чудесное чревоношение. Теперь она не одна, а постоянно с ним, любимым...

Любовь оставляла отпечатки любимого на всём, даже на такой мелочи, как тополиные серёжки с их смолянистым горьковатым запахом, по которым прошли тогда его ноги. Ощущения получают волшебную власть возрождать и заново переживать тот чудесный миг встречи с любимым.

Помнишь то прекрасное утро, когда проснувшись, ты поняла, что всё вокруг полно им одни. Как тогда широко распахнулось твоё сердце, каким чистым и прозрачным сделался ум, а тело стало легче лебединого пуха.

В этот час родился принц души твоей, твой любимый, а ты стала принцессой, наследницей Царицы Души, Марии Голубой.

Но кто позавидовал твоему счастью? Кто изуродовал его образ? Кто посеял плевелы на чистом поле твоей души?..

Не принц родился, а волк.

– А, правда, девонька, кричит младенец чей-то. Сходить надоть.

– Куда ты, древняя, собралась? Ноги в валенки всунуть не можешь, с клюкой-палкой да по снежным сугробам далеко ли уйдёшь? Молодая есть в избе, она и сбегает.

Ленка с грудью перевязанной – сердечное молоко всё пребывает и пребывает, раз кормить оказалось некого – бабушку на постель уложила, драным полушубком овчинным заботливо укрыла, чашки со стола убрала в буфетик – наследство петербургской жизни Красалымовых, самовар, уже остывший, на загнётку поставила. Хозяйственная девушка – внучка покойной сестры. Ангел, сущий ангелхранитель Полиной одинокой жизни.

– Вы, бабушка, лежите, а я – мигом.

Как только дверь за Ленкой закрылась, Пелагея Яковлевна зашептала молитву от злых человек, от колдунов-волхвов, от разбойников, от уродливых заугольников, от двоезубов, от троезубов, от бабысамокрутки, от девки простоволосихи...

Леночка сердобольная в стужу и метель вышла за дверь.

Кошка Муська боязливо вслед посмотрела, прыгнула на кровать, свернулась комочком в ногах у хозяйки, песню завела успокоительную под грозные завывания метели.

– Уютничаешь? – упрекнула её Поля. – Нахалка бесчувственная, себя бережёшь, а девочка наша пошла чужого младенца из беды вызволять. Это надо понимать!

Ленка ногами ступеньки заснеженные в темноте перещупывает, боится оскользнуться. Спустилась с крыльца, пошла улицей, трудно идти: снег лицо обжигает, в грудь ломится, до костей пробирает...

– Уа-уа-уа-уа! – несётся навстречу детский плач. «Близко где-то, – думает, – за колодцем как будто». Прошла несколько шагов крик затих: «Может, ошиблась, не туда пошла».

По памяти идёт, на ощупь. За бревно зацепилась: «ага!» – обрадовалась, – «лавочка безработных», как его называет Пётр Николаевич. Он здесь частенько отдыхает летом, на свежем воздухе папироски «Север» курит. Рядом должна быть железная сетка, он её утащил с кордона, чтоб смородину огородить от скота. За ней – лужок небольшой у колодца. Недалеко от него дом Настькиколдуны.

Где же ребёночек? Не плачет. Чудно! Тётя Настя вполне нормальная женщина, а вот прозвали отчего-то колдуньей. Вернусь назад, а то холодно становится, ребёночка, наверно, она подобрала, ведь рядом кричал.

Только собралась в обратный путь, как дитя опять залилось плачем... Кажется, у Первухиных голосит, надрывается, бедненький. К Первухиным идти прямо по улице, первый проулок направо.

– Уа! – зовёт плач.

– Иду, иду, маленький.

И у Первухиных нет никого. Кобель Рекс с цепи срывается, на девушку кидается. Злой. Скорей отсюда. И вдруг тихо стало, унялся ветер, прекратился снег. Поздний вечер. Звёзды горят, небо очистилось. Пожалела Ленка, что вышла из дома искать ребёнка:

– Столько времени напрасно проплутала, а, может, всё-таки не младенец плакал, а, ветер гудел. Дура я, дура! Спать давно пора. Озябла, снег в валенках растаял, ногам холодно и мокро.

Только от Первухиных повернула, он – опять! Кричит у баньки Борьки-пастуха. Решила:

– Пойду, проверю, если опять никого не найду, вернусь и больше ни шагу никуда! Пусть орёт, хоть всю ночь!

Борькина банька на опушке, рядом с фермой. Место считается нечистым, на отшибе. Ферма старая – бывшая рига, крыша провалившаяся, дранка на ней – одни ошмётки, шевелится, как живая, если ветер подует, того и гляди на голову слетит. Здесь и днём боязно ходить. В оконных проёмах, чудится, кто-то маячит: то ли прячется от людей, то ли за кем-то подсматривает.

– Эй, есть там кто, али нет!? Добралась до баньки – пусто, никаких следов не видно, снег нехоженный.

Месяц выглянул, очистились светом сугробы, избы, сады и огороды. Всё, как нарисовано тонкой кисточкой: каждую веточку видно, каждую щепочку. Возле риги сено старое, гнилое навалено, навоз лежалый. И тут – никого. Вдруг из риги раздалось, да так громко, что даже уши заложило. Надо же, куда детку свою забросила непутёвая мать! Нашла место! Чья это работа, интересно знать. На неделе видела живот у Милки-продавщицы, а вчера утром, когда хлеб брала, никакого живота не заметила. Подумала: наверно, утянулась. Тогда, помнится, София Ивановна, полковница спросила:

– Ты, Людмила, никак родила? Что-то больно рано. А на крестины позовёшь? Милка в ответ только плечом повела:

– Больно надо! Я родить без мужика не собираюсь. Значит, это её ребёнок... И не жалко?! Ведь на таком морозе он погибнуть может, помереть. Спешить надо.

Ни одно женское сердце не терпит детского плача, а Ленкино, девичье, и подавно. Хоть и страшно в темноту риги идти – не видно ни зги без фонарика, а все же смело вошла. Как представила себе сморщенное личико, ножки и ручки, скрученные от холода, – не пошла, а побежала резво.

Внутри тоже сугробов навалено – дырявая крыша не спасла от снегопада. Пришлось ползти, застревая в снегу по самую грудь. А крик все пуще, захлёбывается младенец плачем... До того жалко маленького!

– Потерпи, детка, потерпи, маленький, – шепчет спасательница.

Посреди риги лежит.

Пелёнка белеет в лунном свете.

Ой, смотри, развернулся! Синеть уже начал... Ой, как бы ни помер! На руки взяла – легкий какой!

Вдруг чувствует: тяжелеть ребёнок стал, чем дольше, тем больше. Уже невозможно удержать, смотрит – мужик! Не новорождённый младенец, а взрослый мужчина на руках. Батюшки, в сапогах!

Господи, так ведь это её любимый. К нему молоко сердечное текло, это ведь от него бабушка Поля заговаривала – от заулошного.

А он в плечи девичьи вцепился, как клещами, да ещё и улыбается. Зубы блеснули в три ряда – вот он, троезубец. Потом, как захохочет!

– Ловко я тебя обдурил?! Нашёл верную приманку: на жалость взял, на ребёночка. Выходит, старуха ненормальная правильно сказала: «кто полюбил – тот и родил!» Пообещал:

– Сейчас до смерти налюбишься! Рванул шаль пуховую, крест-накрест завязанную, впился в грудь трёхрядными зубами, сорвал всю кожу.

Волк-оборотень! Вот кого родила ты, девонька. Любимый твой, принц души, жизнь твою отнимает.

– Пусть! Молчать буду, не закричу!

Уже и глаза закрылись, в лице – ни кровинки, а не даёт себе воли позвать на помощь, жалеет любимого: как узнают, осудят за убийство.

– Умру – не выдам!

Затихла. Детская пелёнка белеет рядом.

\* \* \*

– Ау, матушка, – закрыла глаза старуха Пелагея, – отмаялась раба Божия Елена, загрыз её волк... Пришло время терпеть до конца.

## VI

*Прелюбодеем-блудникам,  
Смуцённикам-свободникам,*

*Смехотворцам, двуязычникам,  
Пьяницам и корчевникам,  
Плясунам и волынщикам...*

Кыш, кыш! Ату! Ату!

Ой, мамоньки!

Средь белого дня!

Нынче для разбоя всякое время подходит.

Рекса, Рекса, бери его! Ату! Фас!

Эх, падла, боится!

Тут ружьё надо. Айда к Петру Николаевичу! Хлынула толпа к Красалымовскому дому.

Выноси ружьё, Николаич, волка стрелять, он чью-то овцу завалил. Вона, как! Без боязни через всю деревню волокёт.

Чего говоришь, тётя Поля? Через стекло ничего не слышно, ты на крыльцо выдь. Говоришь, пьяный? Так он сам вроде нам и ни к чему, мы сами стрелять научены, пусть даёт пушку. А? Ах, не велит... Волка жалко? Эвона, мужики, Красалымову волка жалко, хищника! Говорит, полезное животное, санитар. А санитары чужих овец не жуют!

– Эх, ребята, время упустили – убёг волк.

Тут и бабы прибежали, затараторили, как сороки, перебивая друг дружку.

– Прямо с овцой сиганул через ограду к лесоводихе Лидке в дом.

– Она сама на крыльцо вышла вся в бигудях, в халате шёлковом нараспах – всю наготу видать, лопнуть моим глазам.

– Приняла волка как родного. Он сам матёрый и овца справная – никак не протолкнуться, в дверях застряли, так она давай пихать их голым коленком. Срам!

Сколь парней перепортила! Мало кобелей, волка ей захотелось!

Мужики, пошли к ней!

Дверь сорвёт, если что. Вишь, чего творит!

Баранины захотела...

– Ведьма, лешего дочка. Копыта свои в туфлях прячет, причём, на высоких каблуках.

Собьём и каблуки!

Двинули! Поля с крыльца вслед кричит:

– Погодьте. Надо с молитвой, а то ведь отвернёт. Вместо волка и овцы, сохрани Бог, что можно увидеть!..

Не послушали мудрую Полюшку мужики бестолковые, попёрли гуртом. И дверь с петель сорвали, как обещали. Эх! Неправильно делают. Не так надо было!

У лесоводихи не изба, а настоящая квартира, все в ней на московский манер: на полу ковёр, мебель городская – мягкий диван, кресла, столик журнальный; умывальник с тёплой водой, стиральная машина, холодильник, в углу торшер – лампа на высокой ножке. Как увидела толпу, подбоченилась, сигарету нахально закурила и спрашивает:

– В чём дело? На пятнадцать суток захотели? Это я могу вам обеспечить. Во-первых, нарушение права собственника, квартира, как вам всем известно, моя, и вы не имеете права в ней находиться без моего согласия, а я согласия вам не дала. Во-вторых, порча чужого имущества. Вы мою дверь выломали? Выломали. Так что, – тряхнула гордо поднятой головой и пошла на мужиков, выпятив полную, четвёртого размера, грудь, – пошли вон!

У мужиков сразу неизвестно куда спесь девалась, заюлили они перед девушкой, как нашкодившие бобики, хотели было повернуть вспять, да не тут-то было! Задние ряды, состоявшие преимущественно из слабого пола, который (не в жисть!) этой сучке, уступить не желал, отрезали мужьям их позорное отступление.

– Ты нас не пугай! Сначала скажи, где он?

– Кто? – притворилась непонимающей лесоводиха.

– Глаза нам не отводи, мы предупреждённые. Кому дверь отворяла, кого к себе зазывала?

– А вам что за дело?

– Мир, – нашлись бабы, – спрашивает, значит, отвечай, а не твякай.

– Ах, вы ещё и оскорбляете! Ну-ну.

– Не нукай! А по-хорошему отвечай. Куда спрятала?

– Вот пристали! Кого мне прятать? И от кого? От вас что ли? Да я на вас плевать хотела.

– Ох, нет больше терпения. Сказывай, шалава, правду, а то...

– Не хочет говорить, – предложил Первухин, – давайте искать сами.

– Колька, смотри под кроватью.

– Дядя Федя, тута кровати нету, один диван, под ним и таракану не схорониться.

– В шифоньере погляди.

– Ой, бабоньки, сколько у этой крали платьев! Разжилась! Действительно, «молодой специалист». Туфель-то целых пять пар, и все реально лаковые. Лосятиной приторговывала! Ух, паразитка! Сумки три, на кой столько?..

– Придурки деревенские, – подвела итог обыску лесовод Лида. – Ничего-то вы в жизни не видели, ничего не знаете. Это разве много? Всего пять пар обуви и три сумки. От жадности сбесились, от зависти чокнулись. На тебя, тётка Евдокия, хоть все товары из магазинов готовой одежды надень, краше не станешь. Хоть бы помылась, а то несёт от тебя мочой на полкилометра. В зеркало лучше посмотри – рябая, морщинистая, старая, а все туда же, наряды считать чужие...

– Ишь, бесовка! – вступились на Дусю подружки. – Ещё и надсмехается.

– И нисколько не боится!

– Ха! – отозвалась на замечание бесстрашная девица. – Кого бояться? – спросила с издёвкой. – Вас, что ли?

– Да ищите же волка, люди, не обращайтесь внимания на Лидку, это она вам нарочно зубы заговаривает.

– Разве вы не тряпки мои ищите, – залилась притворным смехом хозяйка, – а волка!? Ко мне в дом только один хищник вхож – Сашенька. Он до моего тела так охоч – уму непостижимо. Эй, Ленка, чего за людей прячешься? Это ведь ты целую ватагу ненормальных привела за собой. Ну, быстро, катитесь все из моего дома! Хуже будет, если участкового позову.

– Мы сами его позовём, если убийцу найдём.

– Господи, откуда здесь Ленка взялась? Её вчера милиция в Клин забрала на экспертизу. Говорили, что удавил её кто-то в старой риге.

– Вот ведь, правда! Предупреждала нас Поленька Красалымова, чтобы в избу без молитвы да святой воды не входить, а не то «глаза отведёт».

– Не нашли, – залилась смехом «ведьма», – рассказать кому, не поверят. Надо же в какую глушь меня занесло! Волка в хахали записали...

Мужики из дома вышли, на крыльце топчутся. Нехорошо получилось. Кто же всё-таки про волка звякнул? Как кто?! Все видели, как он от риги бежал с овцой, все трезвыми были. Не почудилось, а было ясным днём! Потом к Петру за ружьём ходили – он отказал. Это мужики, а бабы, где в это время были? Да возле Лидкиной избы. Выходит, они-то и сбрехнули: «К лесоводихе в ограду забежал, на крыльцо вскочил, она ему дверь самолично отперла и впустила». Признавайтесь, кто из вас, трясоюбки, согрешил? Кто смуту затеял? Это ты, огородница, отвечай!

– Отцепись от меня, дурак старый!

– Нет, сказывай, сказывай!

– Вот огрею сейчас палкой, – пригрозила полногрудая бабёнка, – всё никак не уймёшься. И липнет ко мне всю жизнь, пёс пегий! – обратилась она к подружкам за поддержкой. – Вы хоть признайтесь честно: все видели, все кричали, все мужиков призывали на помощь. Я-то при чём?

– Ой, братцы, Петрухин с Рексой...

– Чего ты, Васильевич, кобеля своего приволок? Кого искать собрался? Здесь глупость одна, бабские сплетни. В результате наших нарушений придётся ответ держать перед охотничьим начальством. Аверьянов нас за это, конечно, по головке не погладит.

– Задаст шороху!

– Ладно, наперёд не каркай, может, обойдётся.

– Смотрите, смотрите, Рекса след взял...

– Ишь, шерсть дыбом на загривке. Ищет!

– Нашёл ищейку.

– А ведь ищет, сукин сын!

– На кухню поволок. Чует...

– Чего он там «чует»? Дух ваш дурацкий чует. Собаке деревенской больше веры, чем образованной девушке. Не может животное, хотя бы такое, как умный волк, добровольно в человеческое жилище вбежать и в нем потеряться. Это ведь не его логово, где есть всякие там хитрости, чтобы от людей схорониться...

– Эко сказанул – «логово», а это что ли не логово? Как есть логово. В нём и волчица имеется. Гляди, как развалилась!

– А Рекса-то, к ней!

– Укусит!

– Он не кусается.

– А Лидка, глядите, побелела, как плат.

Пёс поводок натянул. Хозяин чуть не упал:

– Куда, леший! И тут все след увидели! След волчий, крупный – на тахте грязная лапа отпечаталась. Горкинских не обманешь, они на природе выросли, загалдели:

– Кто тут самый умный объявился, кто тут про разумную тварь – волка рассуждал? Кто нехорошим словом бабские сплетни обозвал – опиумом?! А теперь, умник, объясни



нам, тёмным, откуда след? Ленка откуда? Раз её на свете нет, так почему расхаживает по селу, как живая?

– Охотно объясню. Это явление в науке называют «галлюцинацией», а простыми словами оно означает «привидением». Все очень просто – свечение умершего тела. Обыкновенная физика.

– Засвети-ка ему Фёдор по его физии противной, чтоб народ не мутил своей наукой!

– А с девкой что делать? Она в бесчувствии, как Рекс к ней подскочил.

– И правда, не дышит!

– Влипли мы, ребята, с этим волком. Наедет милиция, следствие начнут, доказывай им, кто волк и кто привидение.

– Николай, первое дело – спрячь собаку.

– Всё от того, что бабушку Красалымову не послушались! Надо бы всё-таки с молитвой! И-и-эх!

– Дверь, конечно, новую навесим, приборём всё в доме, бабы полы вымоют...

– Полы лучше не трожьте, по ним следствие проводить будут.

– А нам оно нужно?! И так одна дурь получилась. Выходит, обмишурились мы, доказательств никаких нет!

– А следы? Все их видели, и Ленку видели.

– В этом, точно, нет сомнения – было дело!

Оглянулись мужики, почесали затылки и вдруг все заметили, что нет ни волчьих следов, ни воскресшей девушки. Стали догадки строить.

А, может, Ленке сестра уколы поставила, на некоторое время оживила, вот она нам и объявилась, а потом спокойно домой пошла.

– Да это сказки, а не объяснения, не такая важная персона деревенская деваха, чтоб ей зарубежное лекарство из стволовых клеток впрыскивать, – опять вмешался со своей наукой «умник». – Придётся всем по здравому рассуждению со мной согласиться: «галлюцинация»! Так и милиции способней будет понять наше происшествие.

– Тише! Никак сигналият. Ой, лесхозовское начальство грядёт. Расходимся от греха подальше.

Крикнул петух красалымовский – куда всё подевалось?

Улицы пусты. Рекс, как ни в чём, ни бывало на цепи у будки своей сидит, зевает, закручивает язык кренделем: «Ува-а-а!».

Огородница по воду пошла, мужики снег чистят возле фермы. Никакого волка, никакой овцы, никакого начальства, никакой милиции. Тихо и у дома, где живёт молодой специалист – лесничий Лида Горохова. Девушка молодая, в прошлом году техникум закончила, а уже про неё говорят, что толковая. Упорный кадр – вторая голова после директора. Чисто живёт: в доме стекла всегда блестят, крыльцо моет каждый день. Бабы завидуют, мужики укромничают. Каждый нормальный человек своё про себя держит, опасается даже пролетевшей над ним сороки: вдруг да соскочит с языка невзначай имя заветное, взгляд нескромный на ту, о которой супруга не должна знать.

Оттого боятся даже смотреть в ту сторону, где Лида живёт, потому и крыльцо чистое – разве кто из взрослых посмеет на него ступить?

Лида на тахте сидит нынче в одиночестве, только что голову вымыла, волосы на полотенце лежат – тяжёлые густые русые косы...

\* \* \*

Красит человека молодость, радуется, хоть и короток её век, спасибо, что хоть в памяти остаётся. Если не поверит кто старухе, что была она в молодости красавицей, так она в утешении самой себе вспомнит, какие были косы! А глаза! А губы! Всё было, всё и сплыло, вместе волжским волнами проплыли и её годочки. Где та водица голубая, где та девица молодая, девица-молодица, молодцаголубица?! Волосы полоскала в летней воде, потом стояла в ней, задумавшись, наблюдая, как мелкие рыбки ходят вокруг колен. Любуются что ли? Чем не краса, лилии белой подобна? Сколько же их распустилось утром! Может, у них бал речной, ишь, как нарядились. Чисты, свежи, невинны. Так и хочется сорвать, присвоить хоть ненадолго эту красоту. Подумай, человек, прежде чем опустить в воду руку. Сорвёшь, а дальше что?..

Мария Голубая по берегу Волги идёт, девушек смотрит.

Видит Мария девушку с бельём, разложила та на песке холстины, бьёт по ним вальком дубовым. Дело это уже давно деревенскими забытое, теперь у многих и машинки стиральные завелись, но Лена любит так, по старинке, «хлесть-хлесть». Ничего не слышно, только валёк. Хорошо...

Остановилась Лена передохнуть, колечко волос золотистых со щеки потной убрала. Вдруг птица в кусты порхнула, перо на ней небывалого цвета – бирюзовое. Но некогда на птичек засматриваться. В то лето, пока не случилось с ней несчастье – неразделённая любовь, жила Леночка у своей престарелой двоюродной бабушки, тёти Поли Красалымовой, припеваючи, помогала ей по хозяйству. Белья у старых родственников, пока Лена к ним не переехала, скопилось много. Старательно бьёт вальком и полощет порты, рубахи, полотенца и ветхие простынки неутомимая прачка. И опять... да так громко запела та птички с лазоревыми пёрышками, что даже стук валька заглушила. С самого неба льются звуки неизречённые той небесной песни, цвета голубого, цвета речной незабудки...

Окунула девушка свой взгляд в волну, а вода до самого дна – голубая, лилии на поверхности тоже голубые, серые, застиранные холстины и без синьки подсинились. Раньше у Ленки глаза голубели, как лён в поле, а теперь и вовсе стали такими, что невозможно описать. Ох, красавица, не знаешь, что с тобой сделалось? Так это та птица – лазоревое перо, та песня с небес отрадная, твой новый взгляд, от которого счастьем веет – все это одно: Мария Голубая, гостя волшебная – любовь – души твоей коснулась.

Что стоишь? Ступай домой, счастливая. Теперь обучишься тому, что раньше не умела; о чём не знала – узнаешь; не понимала – поймёшь; не видела – увидишь; не умна была – мудрой станешь. Сколько даров разом получила: терпеть, жалеть, ничего для себя не хотеть, всему верить, надеяться... Только береги свое счастье, девушка, нелёгким оно будет. Весь мир против любви ополчается, гонит её из сердца, глумится, нащёптывает гнусности про неё. Но знай, что если женщины утратят чистоту, терпение и скромность, если разучатся любить бескорыстно, то, ни одна душа не спасётся!

Ко всякой девушке на тропинку Мария Голубая выходит, никому не отказывает видеть себя, дары свои принимать. Выходит ко всем: и к привлекательной и некрасивой, даже к хромым, косым, горбатым, конопатым – и дары раздаёт, кто какие сам для себя выберет. Одним нравится царить, повелевать суженым; другим – подчиняться. У гордых любовь – на песке, и царствию их скоро приходит конец. Если раньше гордыня красотой своей пленяла, то в старости всё растеряла: волосы поседел, брови поредели, глаза выцвели. Уплыла царская краса за небеса...

Как старуха в воду войдёт, так вода-то у ног её закипит, замутится, бросится под коленки дряблые, сухие цепной Жучкой.

– Ой, ой, не держат ноженьки! Старой отражение своё – упрёк горький, не смиряется она с тем уроном, что нанесло время её красоте.

Смирная же платочек повяжет, коски свои редкие под него запрячет и – хорош! Насильничать над природой не станет: Бог дал, Бог и взял.

Ленка вот приезжего москвича, что баньку у бабушки Поли снял на лето, полюбила всей душой до смерти! На том берегу летнем, в ясную июньскую пору, во время цветения лилий водяных, чаек речных, цапель серых, вивших гнезда свои в тот час, как смолка цвела на опушке перед пушистой сосной...

*Кто сумел полюбить, тот и после смерти любит, любовь предела не знает.*

Лесничий Лида мокрые свои волосы рукой трогает, зеркальце в руки взяла, любуется. Вокруг пальца обмотала прядь волос, засмеялась – настоящее колечко получилось, обручальное. Жаль, нет никого рядом, чтобы перед ним покрасоваться, глазами у зеркальца спрашивает: кому губы подарить, кому глаза, кому щёки без единой морщинки? Этому б дала, тому бы, а этому – никогда. И чего только под окнами ходит?! Подарков не носит, в Москву не приглашает, чтобы в ресторане с ним посидеть. Ну, его! И голову не стану забивать, с ним каши не сварю. Улыбнулась, что-то вспомнила и решила: «Заварю-ка кашу с москвичем Сашей. Вот только Танька Бузунова к нему липнет, – нахмурила бровки, – как бы она не помешала!» Но в зеркальце глянула – успокоилась: «Куда ей до меня!» Но прежде, чем влюблять, надо что-то обещать. А то, как же!? Любовь любовью, а польза пользой: я тебе – ты мене. «Пообещаю москвичу, что устрою его на кордон, говорят, что он желает егерем работать. Что мне? Да легко! Шепну Аверьянову, что помощник нужен, а то браконьеры замучили. Сказывала ему, Саше, в клубе, чтобы вечером ко мне заглянул, мол, дело есть...»

Ой, волосы ещё не просохли, где же фен? А то, кто войдёт – да увидит меня такой неприбранной. Хоть кофточку новую надену. Где же она? Вчера только висела на стуле. Ах, вот она... Стучат кажется? Господи, никак пуговицы не застегнуть...

Одну минуточку! Сейчас, сейчас. Пошла открывать.

– Лидочка, здравствуйте.

– Ах, как вы руку жмёте больно, у меня перстень, не видите?..

– Пардон, пардон...

– Что же вы вчера не зашли? Я с работы недавно пришла, убраться не успела, всё разбросано, раскидано, а тут ещё и волосы затеяла мыть. Ужас!

Гость притворно восхитился:

– Что вы?! Всё отлично, всё славно, как в лучших домах Лондона.

- Скажите тоже – «Лондона»! Да здесь глушь, деревня...
- Нет, нет, Лидочка, всё так уютно, всё так славно, не скромничайте.

Лида перед гостем стоит и смотрит, как он ногами коврик валтузит, а сам по сторонам озирается, не головой только, а всем телом поворачивается. Ну, прямо, как настоящий волк!

Нижнюю губу девушка поджимает (столько раз перед зеркалом репетировалась!) – нижняя губа немного толстовата. Улыбается тоже осторожно, чтобы скрыть щербинку. Говорят, это точная примета насчет тех, кто к мужчинам равнодушен. Примета правильная, она про себя знает, что не в меру влюбчива, но он-то об этом до поры до времени не должен догадываться, пусть думает – недотрога. Мужика надо, как окуня поводить по леске, чтобы у него голова закружилась. Тогда он ни губы, ни щербинки ничегошеньки не заметит, и не станет на такие мелочи внимание обращать – лишь бы ни сорвалась рыбка.

– Однако, что у дверей-то топтаться. Входите уж!

Как только гость свои ноги от половика оторвал и в комнату прошёл, Лидочка проворнёхонько дверь – на ключ, чтоб спокойней было важную беседу вести. Сама села на тахту, а его напротив в кресло усадила. Помолчали.

– Кофе любите? – спросила с усмешкой. – Могу сварить. Гость головой кивнул утвердительно, а про себя подумал:

– Охота начинается по всем правилам, давай чаруй, обольщай, чаем-кофием пои... По-турецки? У москвича глаза на лоб полезли: «Ещё и «по-турецки», ох, серьёзная, знать, деваха, осаду начинает по всем правилам».

Хозяйка с тахты поднялась и пошла «косичкой», заплетая одну ногу за другую, как модель на подиуме. Кавалер вслед смотрит, оценивая всё в комплексе...

Принесла дымящиеся чашечки, поставила на полированный столик, сама присела рядом, кофточку, как бы невзначай на груди расстегнувшуюся, поправлять не стала, в разрезе показалась смуглая притягательная тень между округлостями.

«Рыбка» дёрнулась. «Окунь» голову над водой высунул, глотнул воздуха, опьянел, в глазах круги алые.

Отпил из чашечки чуток, поперхнулся, закашлял. Лида отодвинулась.

«Окунёк», прокашлявшись, отрезвел и опять ушёл на глубину.

Ой, не спеши девка, не спеши!

– Если бы знали, как мне Москва надоела, – признался гость. – Суета, духота, метро, транспорт. А у вас – благодать! Воздух свежий, вода чистая, кругом леса и людей – чуток.

– Вам люди мешают? – удивилась Лида. – Это почему же? И девушки тоже?

– Отчасти, – лукавил гость. – Если бы среди них были такие, как вы, я бы, может, и согласился жить в столице, но мне что-то такие не попадались.

Потянулся к Лидиному голому локотку.

Погоди, погоди, лесоводиха, не вспугни добычу, не так прост этот «окунь». Он про тебя тоже уже всё понял.

Лида встревожилась – целых десять минут прошло, как он сел в кресло напротив, долго гуляет «рыбка». Рыболов нетерпеливый, смотри, раздумает да и смотает свои удочки.

Понял и он, понял и испугался: упусти. Глаза у девушки уже позеленели, и кофе больше не предлагает, надо наживку дёрнуть, чтобы подумала, будто клюёт.

- Может, в клуб сходим? – предложил.
- А вам там глаза никто не выцарапает?
- За что?
- Не за «что», а за «кого».
- Если не секрет, за кого же?
- За меня.
- Вот как! Кому же мы помешать можем?
- А вы не знаете разве?
- Не знаю.
- Ох, до чего же все мужчины одинаковы.
- Будто?
- Точно!

Эге, лесоводиха, эге, молодой специалист, эге, Лида Горохова – искательница приключений. Не на того напала. Не поймёшь, кто из вас окунь, а кто рыбак. Окунёк-то с секретом. Чудной окунёк – сам просится на крючок! Не верь ему, девушка, он своего не упустит! Ты выгоды своей ищешь, а он – своей.

Вот какая игра бывает, когда люди не любят, а притворяются...

Лида первой «сдалась»: губы задрожали от досады и обиды, злость бледностью щеки мазнула. Он руку протянул, коснулся плеч, головку мокрую погладил. Пропади всё пропадом! Вот как умеют столичные парни обходиться с девушками – сердце заходится от такой ласки. Горячо стало в доме, туман поплыл...

Соскочило с них всё временное.

## VII

*Стон и скрежет зубовный:  
Уж вы, матери наши родимые!  
Чего младых нас не учивали,  
Чего до крови нас не бивали,  
И кровавых рубашек не смывали?*

Неужели тебе, Саша, Пётр Николаевич ничего не рассказывал про Машу? Не было случая? Может, подходящего момента ждёт? А он – вот! Наступил. Каждую зиму хвораешь, каждый год всё тяжелей становится весны ожидать: ноги болят, спина, глаза не видят. В тёмном доме после того, как племянницы не стало, печь стоит холодная, нетопленная, полы не метены, коты и куры не кормлены, мать-старушка под худым тряпьем трясётся, вся иссохла от голода и недосмотра.

А он всё вспоминает...

Цыганка. Пётр ещё молоденьким совсем был, как-то отбилась от общей ватаги, тогда-то она к нему и подошла, тогда-то и сказала те самые слова, которых не забыть! А нагадала ему цыганка вот что: «Что скажу тебе, соколик, на войне случится горе великое: ранение

получишь, выживешь, но душу потеряешь. Долгие годы суждено тебе чуть ли не об землю биться, как змея кнутом перебитая, но придёт время и засияет пуще прежнего!»

Правду тогда сказала гадалка, сколько лет прошло, а он все бьётся и бьётся, но время, чтобы засияло над ним, всё никак не наступает...

А сам-то, что делаешь, чтобы вернуть себе душу утерянную? Грехи умножаешь? Уймись! Уговори друга своего молодого, чтобы не крутил любовь с лесоводихой. Расскажи про Марию, про Машу Поднебесину, поделись с ним воспоминанием о первой своей чистой любви. Была бы душа твоя на месте, она бы вспомнила... Через всё прошёл, молодым был, удалым был, плясуном, гармонистом был. Теперь лежишь один одинёшенек в грязи и коросте.

Ходики тикают. В кошке одной к тебе милосердие. Муська подкралась и лижет лицо. Вот! Людям даже глядеть на тебя противно, а кошке, выходит, нет! Что у твари сердца больше, чем у людей? Вот и думай. Сам ты от души к телу всю жизнь отворачивался.

Чем тебя женщина привлекала? Конечно же, телом. Хороша была радисточка, хороша и врачиха, зубной техник, а сколько ещё их было! У той – грудь, у той – носик, у той – губки, в той задору много... А Маша? Первая? У которой на коленях в клевере лежал, в небо смотрел. Да не в небо, а в Машины глаза! Они у неё голубее самого неба, и не встретишь на земле больше таких, разве что у Ленки. Мать честная! Ох, должно быть, засияет пуще прежнего, раз в наше время ещё встречаются подобные. Позвал громко:

– Лен, а Лен!

– Что кричишь, сынок? Нету боле нашей глазастенькой, – заплакала старуха Пелагея. – Волк её загрыз.

– Ты чего, мать! Опять? Какой ещё волк? Откуда?

– Да из Москвы, из Москвы.

– Не городи чепуху. Какие в городе волки?

– Истинно, истинно, пирожок ты ни с чем, Петенька. Теперь-то там как раз одни волки

– Что-то не пойму тебя, мать.

Встал Пётр Николаевич с койки расстроенный, хотя и к причудам материнским привык, но Ленки-то нет в избе. Куда подевалась?

– Участковый в Клин повёз на экспертизу какую-то.

– Утопилась? Так ведь сейчас зима.

– Да не утопилась она, говорю тебе – волк загрыз.

– Отстань ты со своим волком!

– Все квартирант твой, москвич.

– Сбесилась что ли? Он же человек.

– Что с глупым говорить? – отвернулась к стене Пелагея. Бросил он Леночку нашу.

– Так бы сразу и сказала, а то «волк», а то «загрыз». Ну, бросил, ну разонравилась она ему, так это дело молодое, с кем не бывает.

– Душегубство делом называешь... Эх... Бог пустого дурака в дети дал. Господи, за что караешь меня, грешную? Сбегал бы ты к Лидии.

– Что я у ней забыл?

– Может, и забыл.

– Тьфу! – плюнул Пётр в сердцах, однако закралось в душу волнение – где же все-таки девушка, может действительно следует её поискать... У Сашки надо спросить.

Поспешил к баньке, а там закрыто. Как есть наладился, сукин сын, к своей любовнице. Вернулся домой. За пьянкой своей вроде и не замечал племянницу. Она, смиренная, все дела творила незаметно, а теперь без неё видно, какой кругом беспорядок. Изба опустела, темно сделалось, сыро, грязно, все вещи раскиданы, неожиданно для самого себя спросил у матери:

– Ты Машу помнишь? Девку с Крайней улицы. Я с ней до войны гулял. Глаза у ней были, помнишь, такие голубые.

– Ага, дошло, значит. Беги, говорю, скорей к Лидке, вдруг да успеешь.

После того, как дверь за сыном закрылась, встала Пелагеюшка со своих убогих постелей, будто и не лежала всю зиму навзничь, подошла к киоту старинному, зашептала молитву. А у Петьки, как на воле оказался, что-то в грудях хрустнуло. Что за дела!? Словно кто его в спину толкнул: «спеши, Красалымов»!

Ленка зёрнышко своё единственное, кровное, не пожалела, снесла в старую ригу.

От каждого любящего по зёрнышку, глядишь – полны закрома у Любви, у Марии Голубой.

Время придёт всем зёрнышкам рассеяться, вырастет из одного полный колос, а в нём, почитай, десятки выспеют новых зёрен и засеют они ниву Любви. Вечная эта нива – сколько ни расхищай.

\* \* \*

– Отворяй! – крикнул да ещё для пущей важности каблуком по филёнкам ударил. А в это время лесоводиха с волком – на тахте в обнимку. Услыхав знакомый голос, волк к окну подошёл, занавеску отвёл, обернулся к Лиде с усмешкой, мол, отбились только что от целой ватаги, так теперь нелёгкая ещё принесла и Красалымова.

– Не пускай, – попросила хозяйка, – нечего ему здесь делать.

– Отчего же? Он – свой.

– Вдруг про Ленку спросит.

– На что ему эта овца?

– Родня всё-таки.

– Пустяки. Он и с родной матери шкуру сдерёт, если прикажу.

Скажешь тоже!

– Красалымов, если хочешь знать, передо мной в долгу неоплатном: раз камни небесные научился грызть, пусть теперь плоды своего ученья пожинает, и никакой жалости, никаких сантиментов. То-то. Ставь на стол бутылку, королева! Баранина в холодильнике не испортилась, сколько дней прошло? Попробуем на вкус родню Петра Николаевича. Ха-ха!

Пётр именно этот смех сатанинский и услышал, замолотил кулаками пуще прежнего:

Отворяй! Волк не спеша крючок дверной сбросил с петли:

– В чём дело? – спросил, как ни в чём ни бывало. – Привет.

– И ты тут, душегуб! А она где?

– Фи, – брезгливо протянул волк, – это же бестактно, это же фривольно вламываться в дом одинокой девушки. Мы с Лидочкой вам не враги и всегда рады вас видеть. Вот вам тапочки

– Хрен с ними, с тапочками. У меня к полюбовнице твоей вопросик имеется.

– Имеется, так имеется... Да вы проходите, Пётр Николаевич.

– Вот и не верь в приметы, – отозвалась хозяйка, выходя навстречу гостю, – Только что нож на пол упал, а вы тут как тут. Мы ещё с Сашенькой не начинали.

Смутился Пётр от ласковых слов, упрекнул себя мысленно:

– Опять поддался на старухину пропаганду.

Волк и лесоводиха обрадовались, заметив Петькино колебание. С таким простаком справиться нетрудно, если мужиков трезвых отвадили и Рекса Первухина заставили несолоно хлебавши покинуть чужое помещение, несмотря на его грозное рычание, то с этим – просто делать нечего; обойдём, уговорим, слабинку его хорошо знаем.

– Наливай! – подмигнул волк лесоводихе. – Не жалея для милого гостя.

– С воскресением, – поддакнула Лида.

От такого вежливого обращения Пётр Николаевич и вовсе скис, душою размяк – настоящая тюря с квасом. А мать?! – Что с неё взять... за целую зиму на боку лежучи, что только в голову не втемяшится. Ленка, должно быть, в столицу подалась, там сейчас по магазинам ходит, я тут бегаю, как савраска, людей хороших беспокою.

– Эх! – перелил в горло полный стакан.

– Да вы закусывайте, закусывайте, – засуетилась хозяйка, щедрой рукою нагружая тарелку гостя кусками пожирней. Пётр Николаевич подумал про себя:

– Должно быть, в город ездила, ишь, сколько жратвы навезла. Голубцы в банке, ветчина, икра – навалено, как в гастрономе. Ого! И «Столичная»... Лосятину продала, как пить дать. В городе её охотно берут. Гризодубова целыми машинами увозит из охотхозяйства. Там – министру; там – артисту; там – генералу; там – космонавту или научному физику. Городским людям, видать, надоела курятина импортная – дикого мяса хочется.

Пётр вилок пару раз привозную снедь ковырнул – отложил, признался, что аппетиту нету, после первой, дескать, не закусываю.

– Нальём по второй, – предложил волк. – Нам не жалко.

Лида булку маслом намазывает, и кусок колбасы кладёт сверху, потчует:

– Кушайте, не стесняйтесь.

– А он и по второй не закусывает, – заметил волк. – Нальём и по третьей...

Охмелел Красалымов после третьего стакана, хорошо сделалось, успокоился совсем, ничего ему больше не надо, пёс с ней, с этой Ленкой. В эту минуту и спрашивает его хозяйка:

– Так о чём вы со мной говорить хотели?

– Сам не знаю, это все моя старуха... Про волка какого-то плела, про овцу. Да что её слушать – скоро сто лет исполнится, из ума выжила.

– Вы ей, Пётр Николаевич гостинчик от меня снесите, я её очень даже уважаю.

Батончик колбаски, сырку и баранинки.

– Ладно ей и так!

– И от чего мужчины такие бесчувственные? – вздохнула девушка, придвигаясь к своему кавалеру, руку ему на плечо положила, коленку к коленке придвинула, а он и ухом



не ведёт. Пётр маневр заметил и удивился Сашкиному спокойствию: «ишь, вражина, какой до баб крепкий, я б такого не стерпел. Ягодка! Так бы и съел. Где мои годочки молодые...»

– Сашка, тащи гармошку! «Помнишь, Катя, Катенька – Катюша, как любил тебя Катенька сперва...» Играть песни будем. Дарёная гармонь, получена за выслугу лет на колхозной сцене. А вы как думали! Учить вас молодых надо и надо, и ещё раз надо. Это моё слово, слово Петра-разведчика. Поняли?

Волк лесоводихе подмигнул: «а ещё боялась». Шапку – на уши и за порог.

Пётр с Лидой за столом сидят. Потянулся гармонист свой корявой лапой к белым коленкам.

– Ой, – отмахнулась, – вы мне колготы порвёте, зацепов наделаете...

– Будет про меж нас что? – спросил.

– Ха-ха, – рассмеялась хозяйка, – какой вы, однако, гость не простой, старый, а прыткий. Сколько вам лет? Семьдесят? Сто семьдесят? Ой, не могу...

Пётр потупился, обругал себя в мыслях старым дураком и вдруг почувствовал, как заломило ступни. Стал нога об ногу тереть, прогоняя судорогу – не помогает. Вот уже и всё тело, все суставчики занули, закрутились, глянул под стол, а там... ступни выгнуло пятками вперёд, носками назад.

Как меха в гармошке развело Время пространство, потом собрало и всхлипнуло: «Их-их!» Перед Петенькой не Лида Горохова, молодой специалист, а та знакомая ему старинная подельница, и усмехается той, недавней, временной девушке, корит взглядом за её насмешку над верным и вечным другом.

– Да и ты немолода, голубиха-ягода, болиголова, – говорит ей Пётр.

Тоже самое и с Лидой произошло – нет больше современной молодой женщины, а есть вечная греховодиха.

Тут и сапоги о порог застучали, загремели – это воротился Александр с гармоникой.

– Вот вам и музыка.

Подхватил гармонист гармонь, на плечи ремень накиннул, заскрипели лады, загремели колокольцы-бубенцы, залились трели забубённые.

– Зови козу!

– Майка, Майка!

Вот и коза на пороге, значит, все в сборе, все вместе. Скачки, прыжки начались, дым серный, огонь вредный. Вмиг ветром всё разом разметало и сдунуло. Нет никого и нет ничего. Только в помойном ведре глаз человеческий голубеет.

*У старухи Пелагеи, стоящей пред иконами, руки онемели, не может поднять их, чтобы осенить себя крестом.*

*– Не принимает, сынок, Господь молитвы моей. Ау, матушка, как жить будем?!*

\* \* \*

Камень александрит ночью кровью горит, днём – зелёный, незамутнённый.

У наследника такой камень в кольце. Удивляет он всех, никто понять не может, как, не опасаясь, можно такого оборотня на руке носить, ведь страшно, поди, как александрит этот при свечах начинает кровью играть.

Кое-кому и удивительно: сам-то наследник тих и сговорчив, не буян и не спорщик. Красив Александр Павлович, статен, высок ростом, кожа нежная, как у девицы, глаза серые, зубы ровные белизны необыкновенной. Образован и воспитан. А вот любит почему-то перстнем играть, любоваться на пламень кровавый того камня, на его странную игру: то примет он на себя образ смиренный, то загорится бурным мятежом.

Перед самой весной, когда на мартовском солнце уже начнёт снежок подтаивать, а у дворцовых стен, которые ещё в тени, корочка ледяная образуется, вышел наследник погулять. Он в этот день особенно был ласков и приветлив. Светлые его глаза под тёмными бровями лучились не хуже, чем самоцвет в перстне. Даром, что отец с утра бранился, упрекал и грозился, ногами топал, а сын, между тем, всё светел и радостен. Эту странность тоже кое-кто приметил; чем больше Александра бранят, тем он покорней, только лишь почаще на свой камень поглядывает, словно любуясь его зелёным цветом, а к вечеру, когда разгорается в глубине камня алый пламень, наследник уже глаз с него не сводит...

Долго гулял царевич, давил торопливыми шагами мартовские ледышки под отцовскими окнами, вертел перед глазами палец с перстнем, и улыбался, да так радостно, да так мило. Кое-кому от этого жутко становилось.

Вечер настал. Отец за ужином совсем разбушевался – блюдо с кушаньем нарочно из рук слуги выбил, а на раба, бедного, накричал да ещё в сердцах салфетку через весь стол швырнул сыну в лицо. Сын же её легко на лету поймал, почтительно поклонился родителю, взглянул на него при этом кротко и смиренно, на лице – ни краски гневной, ни гримасы обиженной, только перстень вытер о салфетку. Кое-кто и это заметил.

Разошлись после трапезы молча.

Кое-кому не до сна – забыть не может того жуткого спокойствия, с которым принял царевич отцовскую выходку. Как бы чего не случилось нынешней ночью. Лихая ночь, ветер с Невы, в нём – гнев и мольба.

Подняло, оторвало от тёплой перины, понесло свидетеля к спальне наследника. Прислушался, подкравшись осторожно к белой двери опочивальни, а за ней – мёртвая тишина. Успокоился и хотел, было, вернуться к себе, но вспомнил про камень: ох, недаром он так горел! Решил остаться. Спрятался за высокой вазой напольной с китайскими драконами.

Луна за окнами светит – и свечей не надо. Вдруг видит: шевельнулась дверная ручка, приотворилась дверь, крадучись выскользнул из спальни наследник. Шагом нетвёрдым прошёл несколько шагов, привыкая к темноте, держась за стены, потом походка его выправилась, и он заскользил по паркету легко и непринуждённо, словно мазурку пошёл танцевать.

Свидетель раскрыл глаза от удивления и страха, заметив красный огонёк – это загорелось кольцо путеводное, казалось, ведёт оно за собой владельца своего, и тот покорно его воли движется не сопротивляясь.

Так прошёл царевич мимо спящего караульного-камергера, мимо бдительной царевой стражи и остановился. И тут... «Господи помилуй!» – прошептал свидетель, удивляясь невиданному зрелищу. Откуда в дворцовых покоях появились эти люди в такой странной

одежде: в красной майке и тужурке охотничьей. Откуда женщина простоволосая? Откуда коза?

Колокольчик на козьей шее звякнул, копытце цокнуло. Мигом дверь в спальню царскую отворилась, и всех разом втянуло, всосало в темень кромешную. А из темени вдруг – стоны, приглушённые крики, возня...

Свидетель, свидетель, не сидеть бы тебе за вазой китайской с драконами. А что поделаешь? Не всё быть тебе зрителем хороших дел. Покорись воле Божией!

Что-то грохнуло за дверью. Понял всё свидетель и зарыдал: жаль, что в лихую ночь никому нельзя помочь.

Крадутся те четверо вместе с царевичем в обратный путь, всполохи от них, как от зари кровавой, жар от них, как из пекла. Остановились возле вазы, совещаются:

– Теперь, когда дело сделано, ответишь ли: короноваться будешь? Или как? Долго ли нам расчёта ожидать, нам деньги нужны. Думаешь, бесплатно нас возят из одного мира в другой?

– Да мне уже не хочется, – признался наследник. – Мерзко все получилось.

– Не дрейфь, Александр, я ж тебя камни небесные грызть учил. Забыл?

– Да не забыл – сыт по горло. Но про горло лучше и не вспоминать: брр! Я с вами хочу, Пётр Николаевич, я здесь боюсь!

– Боишься?! Батьку душить не побоялся? Эх, жила интеллигентская, царя внук. Шкодить умеешь, умей и отвечать.

– Если ты, Петя не хочешь – я возьму, – вступилась за царевича греховодиха Лида Горохова. – Люблю чистеньких и породистых.

– Как знаешь, атаманша. Только перстень свой, парень, скинь, дабы тебя по нему не опознали. Хочешь – оставь на память. Наперёд скажу, что камень твоим именем назовут: «александрит» в честь твоего предательства. Айда, станичники!

– Любить буду, – пообещала греховодиха.

– И я, – поддакнула коза...

\* \* \*

Коллега:

– В этом вопросе разрешите автор с вами не согласиться! Ну, какой же я злодей? Если отцеубийство Александра I оспаривают историки, то тем паче мой случай... Не убивал, не хотел убивать – и в голову это мне не приходило. Папеньку своего я ненавидел тихо, старательно скрывая свою неприязнь к нему, особенно за то, что он упёк меня в ВИИЯ – военный институт иностранных языков. Все эти строевые подготовки, стрельба из оружия, всякие там кроссы да броски, ползания по пересечённой местности, парады и прочие прелести военной службы вызывали идиосинкразию такой силы, что я буквально умирал. Самой любимой военной командой была для меня следующая: «Курсант Соколов, выйти из строя!» При этих словах я выпархивал из шеренги слегка балетно, как юный танцовщик, мысленно желая себе больше в неё не возвращаться. И в одно прекрасное время так и случилось – «закошил» да так натурально, что меня комиссовали. Я «сделал

ручкой» папегенералу и зажил цивильной жизнью, навсегда покинув строй буквально и фигурально.

Кто бы мог подумать, что эта задрипанная деревенька, Горки Едимновские, станет родиной «Школы дураков», своеобразным трамплином, от которого я оттолкнусь, чтобы оказаться через некоторое время на американском литературном Олимпе, и воссесть одесную с любимым мэтром – Владимиром Набоковым. Тут я был недосыгаем прилипчивым женщинам, скучным друзьям, сентиментальной родне... Отцовский армейский ремень с латунной пряжкой теперь был нестрашен.

\* \* \*

*Утешна ли кроткая? Утешна ли гонимая? Утешна ли скорбящая?*

*Утешна, утешна, утешна... На зелёном холме, укрытом забудками, сидит Мария Голубая и плетёт венки для суженых.*

*Горки зиму с себя отряхивают, Волга взопрела белыми пуховиками, томится на солнце. Коровёнки, козы, овечки, свиньи топчутся по хлевам и загородкам – на волю хотят. Конское ржание – серебряная труба, трубит радость на всю округу.*

*Вечера стоят синие, тёплые, талые.*

*Тихо. Безлюдно, только под вечер – оживление. Калитки отворяются, крючки взвякивают. Бани топили с вечера, чтобы к утру быть чистыми – без грехов! Готовился народ – и стар, и млад. В церковь отправились в свежих рубашках, новых кофтах, в платочках накрахмаленных.*

*Вон Маша Поднебесина стоит рядом с клиросом – прежняя Маша; Настя – мать нынешней, тоже колдунья; Софья Ивановна – Софии Ивановны, вдовы полковника, мать; Первухин-старший; Красальмовы – Поля и Миколай. Муська, кот Барсик, Рекс, Полкан – звери прежних дней – все на своих местах, все в своих обликах, и берёза Красальмовых не изменилась, как есть при своих ветках и листьях.*

*Всё, как было.*

На пригорке песчаном – церковь Горкинская, ещё непорухенная, в ней батюшка отец Кирилл служит.

Началась обедня. Полинкин голос в хоре всех слышней. Миколай умиляется – до чего звонко выводит его любимая! Слезы у многих на глазах – вот это служба! Отраднo на душе у каждого православного, в храме Божьем у всех одна держава, одна власть, один Владыко – Господь, Иисус Христос. Слушают слова Евангелия, слушают ектеньи, тропари и славословия, и душа освобождается от дрызг и обид, забыты оскорбления и побои, матерки, проклятия, ворожба, гордость и жадность...

Громким шёпотом молятся прихожане, без опаски и стеснения высказывают самое сокровенное Богу и Божией Матери, каждое слово под охраной ангелов, никакая сила не переиначит их и не исказит.

Машенька Поднебесина молится за мать сварливую. Та, чуть что – по рукам бьёт, за косу таскает, упрекает, что с парнями не гуляет, на посиделки не ходит, грозит, мол, если в старых девах останешься, выгоню! «Господи, прости за этот помысел меня, окаянную,

злопамятную». Не пожалела бы и сердца своего девушка кроткая, так бы вынула его из груди и вложила бы в материнскую бесчувственную грудь.

Настя прижала лоб к холодным плитам церковным, голову не может поднять – грешная, грешная, всех грешней! Не призналась на исповеди, что готовила зелье приворотное. Из трёх родников воду варила, на трёх зорях настаивала, трём людям пить давала, в горшок наливала, в печь ставила, хлебом ржаным покрывала, тестом горшок обмазывала. Лесникова дочь приходила, яиц нанесла целое лукошко, окорок лосиный, просила слёзно: «Приворожи, нет мне без него жизни, утоплюсь или в Сибирь съеду». Принялась, было, урезонивать: дескать, у него уже есть девушка, а та опять за своё: «Платок в розах подарю, тётенька, всё, чего не попросишь, дам, только сделай». Теперь тот платок дарённый горло душит, как петля, не скинешь его в Божием храме. Достоишь ли службу, грешница?..

София Ивановна – ладони огнём горят – кается: выманила у Полюшки Красалымовой деньги в долг, а отдавать не собиралась, мол, на что ей, дуре, деньги? У неё ни красоты, ни вкуса. Мне же помада нужна, крем, пудра, чулки и шаль кружевная...

У Первухина сосед межу распахал в свою пользу, а он за то грозился дом поджечь. «Прости, Господи, – просит Первухин, – не допусти: из-за клочка земли такую бучу поднимаем, а надо-то, конкретно, всего три аршина!»...

И сосед о том же молится: «Тело с костей соскочит, в землю уберётся, что надо нам, дуракам тесным?!»...

Ох, лети душа в небеса! Хорошо-то как! Прощения просить – витамин для сердца, лучше всех лекарств!

Чем лукавый соблазняет? Думаете видом истинным своим: рожей мерзкой, обличьем адским? Нет! Житьём райским. Под локоток каждого подталкивает: бери от жизни всё, что хочешь, не упускай своего, чего ждёшь? Царствия Небесного не дождёшься: куда тебе – весь в грехах, как в шелках! Если с умом жить, то и на земле рай можешь для себя сам сотворить.

То-то, с умом! Не лги, лукавый, ум человеческий тщится с промыслом Божиим соперничать. Положил Господь терпеть, смиряться с тем, что получаешь от Него, ан нет – дай больше! Почему, дескать, у других и то есть, и иное, а у меня – шиш! Несправедливо! Все люди от рождения совершенства одинакового, так и не различай нас потом, всем давай поровну!

Так рассуждая, и Первухинский сосед захотел себе больше урвать. Софья Ивановна посчитала, что её красоте больше причитается, чем простушке Полюшке. По той же причине и Настя-колдунья решилась на беззаконие – не побоялась в спор вступить с тем, что на роду было написано несчастной Леночке.

Всех лукавый попутал и Машенькину мать тоже. Годы проходят, так смиришь же, глупая, не заедай девичий век. В болезнях, старости, немощи разве молодые виноваты? От грехов своих страждешь телом. Думаешь, что это простуда, зараза – нет, милая, то грехи твои. Лучше пострадать телом, чем заболеть душой.

Оглянитесь, люди, на свои беззакония!

Оглянулся Первухин: два оборотня друг в дружку вцепились, горло клыками рвут. Грызут-грызут, а перегрызть не могут. Камни небесные хочет сокрушить гордость житейская.

Оглянулась Настя-колдунья: козу бесы доят, а та папоротник жуёт, в подойник вместо молока всякая дрянь сыплется. Жуть берет: полушалок в ведре, богатый, только вместо роз на нём жабы. Похоть очей своих видишь, женщина.

Оглянулась Софья Ивановна: красавица вся в звёздах, убрана ленточками атласными, цепочки золотые блестят на груди, на всех пальцах сияют кольца с изумрудами, волосы в кудри завиты, помадами напомажена, пудрой обсыпана и духами опрыскана с ног до головы. Смотри зорче, беспечная. Что видишь? Что обоняешь? Смрад и вонь! Вместо золотых цепочек на шее твоей петля волосаяная. Вот как обошёл тебя нечистый, погибель тебе приготовил через щёгольство.

Только Машенька стоит сама по себе, как свеча. Свежа, чиста, снежна. Но нет, не одна – вот к ней девушка направляется. Одежды на ней голубые все изодраны, испачканы, руки-ноги в крови. Радуйся ей, Маша! Одно утешение тебе эта девушка среди обмана зыбкого, среди волн житейских неверных. Кто любовью объят, тому не страшно ничего, того никакая похоть не прельстит.

Кто руки тебе поранил?

Люди.

Кто одежды испортил?

Люди.

Никто из прихожан не видит Машу и её знакомую, один только батюшка, отец Кирилл – столп и основание Горкинского храма. Он сразу понял, что за гостья. Упал на колени, руки возвёл к небу, а за ним и все. Сердца внезапно уязвились любовью всеобщей: сварливая мать дочь покорную обнимает, прощение просит, просит прощения и гордая Софья Ивановна, и завистливый сосед Первухинский, а Настя-колдунья в голос ревёт: «Простите, люди добрые, мою ворожбу!»

Все друг у дружка прощения просят, и не просто так, ради формы, а по-настоящему, с любовью!

Очистились.

Вышли люди из церкви на свет Божий просветлённые: теперь каждую почку весеннюю их глаза видят, и радуются сердца каждой травинке.

– Тётя Поля, сколько же у вас икон!..

– Всё моё богатство. Это вот матушки моей благословение, это – образ от свекрови, её благословение на женитьбу Миколая. От барина много икон получено как праздничные подарки, к примеру, образ Иверской Божией Матери. Кум Савелий принёс в дар Псалтирь, по этой книге святой и гадать научил. Говорил:

– Как засомневаешься, открой и чтти. Разумей, о чём там сказано, так и поступай.

Очень большая помощь от Псалтири. Перед революцией, помнится, открыла я книгу, а Миколай и зачитал: «Оскверниться жилище, священный алтарь разорится, именем Спасителя нарекут Антихриста».

– Миколай, что чтёшь?!

А ведь так всё и вышло, по писанному в книге. Церковь нашу в семнадцатом году ставили. Зажиточный горкинский мужик торговлю имел в Питере, он денег дал, привёз кирпич и железо, сказал: «Вот вам, земляки, моя доля, а вы стройте сами».

Мир дал согласие. Местечко выбрали славное: пригорок невысокий, а видать храм отовсюду. Раньше далековато было, но нам привычно пёхом-то...

В начале революции, как мне Псалтирь открыть, церковей ещё не ломали. Так что эти слова про то, что алтари разорят, сумнительными мне показались:

– Как понимать: «Сломают алтари?» Ленин такого не приказывал.

– Ой, Польша-дурка! Да долго ли вождю приказать, ещё дождёмся.

– Не поверю, он же крещёный. Побойтся.

– Как же! Царя скинул, помазанника Божиего, и не побоялся. Вот попомнишь моё слово, и до храмов дойдет.

Открылось Николаю, уразумел он, о чём святая книга предупреждала, не иначе, как Николай угодник помог понять, сам бы он не додумался, хоть и божественным был.

Не задержалась долго наша радость: велено было от новых властей в казну агромаднейший налог внести за церковь новую. Предупредили, чтобы с этим делом не канителились, а не то... До чего же мы все плакали, до чего же переживали! Не успели на храм полюбоваться, намолиться от души и тут – на тебе! Денег собрали быстро, никто не отказался.

Весна в тот год была ранняя. Мы с кумой налог понесли. А Волга-то взбучилась уже. Дорога санная потемнела, вся в полыньях, как шаль дырявая, боязно и шагу ступить.

– Бог даст, кума, пройдем.

Пошли, лёд под ногами прогибается. Трясёмся. Кое-где по досточкам, кое-где по мосточкам, кое-где ползком. Не двадцать сажень, а семь вёрст по такому страху, а всё-таки прошли, не утопи, в прорубь не провалились. Прошли и деньги в казну внесли! А что толку!? Отвернуло народ от прежней жизни порядочной, богобоязненной.

Старики от новых порядков только горестно головами качают, сидя на завалинках – нет им почёта от молодых. Молодёжь работу побросала, по целым дням с флажками по улицам бродят, песни орут, а в поле ни ногой, хоть в будни, хоть в праздник, о крестьянском позабыли.

Как раз на Пасху было уже днём, когда церковь закрывать стали, вывалилась из Первухинского проулка целая ватага, все в калошах новых, морды от святых дверей воротят, никто не перекрестится на крест церковный. Гармонист совсем, окаянный, сбесился: меха гармонные разъяривает, голосит срамную частушку.

Акулина-алтарница пальцем ему погрозила:

– Не озоруй, накажет тебя Господь!

А тот возьми да плюнь на папёрть церковную, да ещё и взрявкни на всю деревню:

– Сначала дым, потом огонь, а на фигу попу гармонь?!

Только за угол завернули беззаконники, как гармонист их упал, споткнувшись о камушек малозаметный, ликом своим пьяным в гармонь свою угодил, а лик-то – чёрен, чернее не бывает, ровно обуглился. Сгорел паренёк. Доктора сказать не смогли, от чего помер...

После этого случая, когда узнали, что церкви будут ломать, перестали люди удивляться, и надеяться на лучшие перемены. Может, от самого Ленина отдельного приказа и не было, но приказы эти бесовские уже угнездились в душах новых людей.

Что всем миром строили, то они за одну ночь разрушили.

\* \* \*

Что с Поленькой Красалымовой было, когда она увидела развалины!

Ведь она в хоре пела, убиралась в храме, да и налог носила с риском для жизни. Как выдержит сердце, когда видишь такое глумление над святынями: сапожищами грязными охальники в алтаре топчутся, комсомольскую дробь выбивают на поваленном иконостасе. Выдернула из-под ног образ алтарный разъярённая женщина, не побоялась, а на нём все письмо уже каблуками стёсано, принесла домой и спрятала...

Красалымовы в колхоз так и не вступили. Лошадь у них отобрали, повозку, сбрую. Бог с ними! Сначала, было, приняли, а потом исключили. Они, мол, в Питере у барона служили, значит, ненадёжные, но имущества так и не вернули.

Поля простить не может советской власти церковь, до самой глубокой старости сохранила в памяти те события. Не стоило и глаза закрывать, как они тут же возникали в воображении. Особенно запомнился гармонист и флаг – красная чья-то рубаха, нацепленная на палку. Потому-то, наверное, так возненавидела Петькину гармонь. Сыночек её – пирожок ни с чем, пустое дело. Как переливать из пустого в порожнее – он может и так, и эдак, оборачивается кем захочет, а всё равно толку от него чуть! Когда церковь рушили, он гармонь в руки взял, хотя и не родился ещё от Поли, но уже был таким же безобразником, как сейчас. А как увидела на приезде москвиче красную майку, тут же догадалась наша вечная свидетельница, что на нём та же рубашка, флажок безбожный на палке. Теперь вот сидит в избе, и ничего хорошего от жизни не ожидает, раз обидели люди святую веру, отказались и надругались над святым.

Жалуется:

– Вечера двое приходили. Не встречались они тебе? Бородатые. Раньше бороду отпускали для степенства, нынче, говорят, по моде носят. Но за бородой долгой всё равно воровства не скрыть. Один-то бородатый, как вошёл, так сразу к моим иконам двинулся, закудахтал, как петух, когда зёрнышко найдёт: «Смотри, смотри, что здесь имеется!» А сам хватить образ, сорвал его с гвоздика – верёвочка-то старенькая, ветхая, она и оборвалась. Как не оборваться – шестьдесят лет на одном месте висела.

Я к ним подскочила – убить, готова была! Господи, прости, ведь шестьдесят лет на одном месте нерушимо, а они одним махом! А они мне, мол, какая строгая старушка, и сулились денег дать. Не надо мне ваших денег, нешто я Иуда продажный?! Нынче не комсомольские времена! Церкви восстанавливают, а вы иконы отнимаете.

Ушли бородатые от меня ни с чем. А всё-таки Господь их покарал: утопи беззаконники. Лодка со всем имуществом, которое они везли, перевернулась на самой середине. Матушка-Волга образа святые, намоленные, прибрала, спрятала в своей глубине, чтобы над ними не надругались, а волосатых тех так и не нашли. И на что им лики божественные понадобились?

\* \* \*

Коллега:

– Кончайте с пристрастием к истории. Кому она нужна? Люди в будущее пытаются проникнуть, прошлое потеряло для многих всякую привлекательность.

Автор:

– Старая песня: «исторический хлам, не имеющий никакой ценности». Ан, нет! Именно «хлам», а не «новодел», предпочтителен во многих отношениях. Миновали те дикие времена, когда многие ценности бездумно отправляли на «помойку истории».



Протопоп Аввакум – это наше народное достояние, драгоценный камень в коллекции лучших духовных личностей России. Чистой воды бриллиант! В наше, скудное духом время, он лучится ярким светом тревожной совести и вправе был бы задать вопрос: «Ну, чего вы достигли?»

Наука, конечно, продвинулась вперёд и заняла космические высоты, но человек... Человек рухнул. Мир сошел с ума. Цивилизация провоцирует стихийные бедствия, катастрофы. Войны приносят смерть, а цивилизация смертельные болезни.

«Зло, – сказал святой Косма Этилийский, – придёт от людей грамотных!»

«Мой» Аввакум живёт просто – он колоши починает.

\* \* \*

Аввакумов в деревне появился в пятьдесят седьмом году.

Отсидел на Колыме в лагерях за политику целых двадцать лет. Отсидевшим большие сроки в городах жить запрещалось. Хотя он сам горкинский, но в Горки забрёл случайно. Просто, как сам рассказывал, ехал, ехал и приехал. Знаете, как в жизни бывает – само собой. Разве всё объяснишь, угадаешь? Всё по судьбе.

Поселился старец у Красалымовых, к ним почему-то все приезжие льнут, мёдом что ли их изба намазана? А «старец» – это потому, что ему сто лет. На самом-то деле шестьдесят, но если двадцать лет отсидки удвоить, то получается сорок, вот и сложи все вместе, выходит столешник. Да и по уму его мудрому то же самое и получится.

Аввакумов «скворечник» Красалымовский занял – пристройку ветхую. Сначала клопные гнезда кипятком ошпарил, от лагерных паразитов кожа ещё не остыла, потом коечку поставил, столик старый приспособил. Обстановка, конечно, не ахти, но прожить можно, главное никто не мешает, хоть на старости лет покой обрести, чтоб никто вокруг койки не колготился, чтобы лампочка всю ночь напролёт в глаза не светила, и поспать можно было в темноте. Единоличная койка, стол единоличный, лампа керосиновая одна, одна кастрюлька, одна кружка и две банки трёхлитровые: одна – под молоко; другая – под малину.

На обзаведение на первых порах хватило колымского выходного пособия. На «мебель» старец ни копейки не истратил – приспособил старую хозяйскую рухлядь, продуктов закупил в едимновском сельпо. Консервы там рыбные «килька в томате» и икра кабачковая – не дефицит, такие расходы и карману не обременительны, и телу... На харчах лагерных нетрудно постником сделаться.

По малину Аввакумов сам ходит, ему «говоруха» места показала, она, шишига лесная, каждый кустик, каждую ягодку, каждый грибочек знает, где что произрастает.

Старец ей за это спасибо сказал, да только насчёт сестры Насти предупредил: «Скажи сестре негоже ворожкой заниматься, Бог накажет».

«Говоруха» от страха аж присела: откуда приезжий старец об сестре вызнал? Может, тётка Польшка сбрехала? Она ведь такая: всех срамит, про всех всё знает. Старая, на одной коже и костях тело держится, а такая прозорливая, не приведи Бог! Наши деревенские из себя культурных корчат – не верят ни в Бога, ни в чёрта. А дачники, те верят. Давеча приходила к сестре одна городская, говорят, доктор. Сама уже в годах, лет сорок пять, а не замужем. С первым разошлась давно, а теперь никто не берёт. Как одной-то на старости

куковать? Просила, чтоб приворожила солидного мужчину. Лида Горохова тоже от Насти не отстаёт: вынь да положь ей Сашку-егеря. Ох, на всякий роток не накинешь платок.

– Вы, уважаемый, не верьте своей хозяйке, она соврёт – не дорого возьмёт!

На эти слова болтливой бабы Аввакумов только бровью седой повёл да как крикнет сердито:

– Сосуд сатанинский! Язык твой непримолчно блюдуц, толико яко все телу мнится быти языку! Всколыхнулась мыслями «говоруха»:

– Ненормальный!

К осени старик стал мастеровать: кому самовар запаять, кому замок исправить, ключ к замку подобрать, бахилы приноворился клеить из шин автомобильных. Повалили тогда горкинцы к старцу толпой. Лучше фабричных калош были эти бахилы. Если их на бурки стёганные наденешь, не страшны ни дождь, ни лужи. Красота!

С заказчиками мастер тоже не больно разговорчив – молчун, видать на Колыме язык укоротили.

Целыми днями сидит старик в своей каморке над работой, иногда только голову оторвёт на минутку, чтобы на свет белый взглянуть. Свету только через окошко пыльное. В уголке старой, разошедшей рамы паук пристроился, паутину плетёт. Такого здорового паука, наверное, больше нигде не найдёшь: пузо-то с целую вишню, на нём крест отчётливо виден – крестовик.

Хозяйка сколько раз предлагала:

– Давай я тебе его тряпкой смахну.

– Не мешает, – усмехнётся старец.

– И не жаль тебе смотреть, как он, ирод, мух тиранит?

– Не трожь его.

И когда кот Барсик свой промысел: птичку или мышь, на крыльце перед дверью жевал, Аввакум тоже ему не препятствовал. Пелагеюшка на крик исходит, отгоняет, отбирает у кота его добычу:

– Брось птичку, убийца, пузо неласковое.

Старец и тут вступится:

– Откуда, matka, знаешь, кто хорош или кто плох; кто преступник, кто жертва. За скотом – его право хамкать для насыщения, а ты, жертва, беги без оглядки, ноги свои тренируй.

– И людей не судишь, – не унимается Пелагея, – Святой ты что ли?

– Погоди до времени, Пелагея Яковлевна. Ты же свидетельница вечная. Не любопытствуй боле.

\* \* \*

Москвич Сашка егерем устроился на кордон Заволжский. Самое красивое место выбрал: дом дали, коня, ружьё, собаку – доволен остался. В доме пять комнат, только что отстроили, смолой пахнет – прелесть! Пригласил в гости девушку деревенскую – для экзотики, повёл на Волгу покататься.

Сидит в дюральке, ногами в дно упёрся, на вёслах решил идти – так больше тишины, мотор не тарыхтит, не мешает. Подружка на воду засмотрелась, любитесь. Вошли в протоку. В протоке волна гладкая, как шёлк, тень от чайки не сдвинет, словно приклеена, утки дикие в кустах крякают. Пальчиком своим маленьким девушка ряску разводит, под ряской темень коричневая и дна не видно, зеркальце образовалось, заглянула в него и увидела лицо своё простенькое: волосики светлые, скулки высокие и носик прямой. Не успела ещё, как следует насмотреться, как проплыли мимо, замкнула окошко болотная зелень. Дай ещё раз попробую – опять воду от ряски пальцем очистила, чтобы лучше себя рассмотреть... Ох, что же это ты, милая увидела? Почему побледнела, почему задрожала, почему отпрянула?

Словно цветок надломилась головка, стебельком кувшинки сорванным для забавы. Упало девичье лицо, сморщилась вода, задрожала поверхность, перекопилось изображение...

– Ау, матушка, как жить будем?

\* \* \*

К зиме Лида Горохова родила.

Как же судили о ней по деревне, кого только к ней не примазывали!? Всех перебрали: и егерей, и приезжих, и охотников, и студентов. В одних только были уверены – в своих. И мыслей не допускали, чтобы кто-нибудь из деревенских с этой девкой непутёвой согрешил. Предполагали, что залетела она, когда в Москву к дядьке ездила. Спрашивать открыто не решались. А когда узнали, что она будет рожать у матери, сильно расстроились: теперь вот не подсмотришь, как станут в сельсовете метрику младенцу выписывать, кто отец. Обманула всех Горохова. Если бы злодеяния не случилось, то вышло бы у лесоводихи все шито-крыто. Однако нашёлся мёртвенький младенец! Чей? Откуда?

Понаехали менты и следователи из Клина. Многое показалось им неясным: какая мать может дитё свое на мороз выкинуть? Значит, виноват кто-то из посторонних. Зверюга, а не человек! Рассказали деревенские жители приезжим милиционерам, что у новорождённого попка обморожена, вся в струпьях, что Пелагея Яковлевна Красалымова ребёнка у себя оставила... Милицейские возмутились: ещё протокол не составили, виновного не определили, а частное лицо вещественное доказательство у них из рук выхватывает, следствию мешает!

– Отстаньте, – огрызнулась на них Пелагея Яковлевна, матка всесветная, – я его выхожу.

Тогда следователи к ней в избу пожаловали с бумагами своими и стали Наде и Вере вопросами докучать:

– Это вы ребёнка нашли? При каких обстоятельствах, кто из вас куда бежал? Где это происходило? В чём вы одеты были? К кому в гости ходили? Что ели и что пили? В трезвом ли виде были?

Старуха Пелагея от таких вопросов только сплюнула в сердцах:

– Тьфу! Бесстыжие ваши глаза! Неужто не видите, что это дети?! Разве можно у отроковиц невинных такое спрашивать?!

– Вы, старая гражданка, не знаете, как сейчас люди живут. Если бы вам все рассказать, с чем нам приходится сталкиваться, то у вас бы уши отсохли и глаза из орбит повылезли. Такие же девочки, может, чуть постарше с ребятами собираются и делают себе «сьюсайд». То есть, если по-русски, вены себе вскрывают бритвой, говорят, что такая любовь «не по лжи»... Ну да ладно, не об этом речь, рассказывайте, девчата, про ребёнка.

– Мы идём, а он кричит. Мы подошли, взяли.

– На кого подумали?

– Вера сказала: пойдём к продавщице, у неё недавно живот был большой.

– А дальше?

– Дальше скандал получился. Милка-продавщица, как увидела младенца, давай орать непонятно что. Кричит: «К лешего дочке катитесь вместе с вашим выродком!» Ей давеча туз вышел. Из рта у неё аж слюна пошла...

– Стойте, – остановили их следователи. – Стойте! Про туза сказала?! Между собой переглянулись:

– Ясно. Кто у вас из заключения недавно вернулся?

– Филька-пастух.

– Где работает?

– Скотину пасёт колхозную.

– С кем дружит?

– С Борькой Зиморовым.

– Выпивают?

– А как же! Кто сейчас без этого.

– В карты играют?

– Кто их знает...

## VIII

*И родилось то дитя под пятницу –  
Впали мать и отец во великий грех.  
И кому ли тоё дело неизвестно?  
Кто под пятницу родился  
Либо вор, либо плут, либо пьяница,  
Клеветник, еретик или души погубитель...*

...А они наелись «колёс».

Во! Куда закатились... В самые волжские дебри. Говорят, всё от дачников, это они народ мутят. И кто они такие?

«Колёсами» таблетки называют, которые от кашля и нервов врачи прописывают: не лечат, а калечат.

Народ-то образованным стал – каждый школьник теперь про наркотики осведомлён. Нажрутся наркотиков и «торчат», простыми словами сказать – с ума сходят, всякие им видения представляются, как в телеке цветном.

По морю-океану бочка плывёт, в той бочке царевич сидит. Темно ему – подонки пробки пережгли в ванной комнате. Нащупал пуп, искру из глаз высек, уставился на него.

Маленьким сначала показался пупок, потом расти начал – до средней величины круглого зеркальца.

Интересно, какая жизнь за пупком?

Нет её – кажется...

Чайки летят над водой...

Нет их – кажутся.

Корабль плывёт, аж волна ревет, а на том корабле три полка солдат...

Пусть себе плывут, а я пупок развяжу. Эх, не развязывается, прочно завязала акушерка в Оттаве! Неловко на спине лежать – давай перевернусь. Только, вот, на какой бок? На правый или левый? Выбрал правый...

На правом – Край Одинокого Козодоя.

Одинокий велосипедист в майке цвета Малой Медведицы за перегородкой из утеплённых уютов читает гипсовой девочке с отбитым носиком стансы ниппель-чезы с препятствиями. Американский стиль: «О, моя милая мама!»

– Абсурд – находка для шпионов, – пробормотал царевич, меняя бок.

Кому под бок!?

А пёс его знает! Слово удрало, как прокажённый кот. Шмыг, драп, дранг... Ага, нашлось: Дранг нах остен. Но, позвольте, нам не нужен «остен», что мы там забыли? Остонадоел нам этот «остен». Айда на «вест»! Вот так хват, этот царевич, а ведь обещал на немке жениться... Полно! Кто такое мог себе вообразить? Наверно Самоненко, выпивая сто десятую кружку «Жигулёвского»... Зачем надо было бежать с корабля, на котором полк солдат? Нырнул в воду царевич, и акваланг не надел – не Средние века!..

Привет родителю – прокурору в отставке, шпиону по совместительству, чихать я хотел на вашу державность. А ещё говорили, что он царского рода. Подумаешь, у нас в России все «царское». Привержены мы к этому прилагательному – водка и та «царской» называется. Тем паче парень-то – перворазрядник. Монархия – порядочный строй...

«Орднунг» по-одинокозодойски, он же «вест», он же «Австрия» – БСЭ, страница 75, восьмая строка сверху... Какой разнир – сверху или снизу, как скажут в Лапландии...

Как вам, Сашенька, ёжится на левом-то бочку? Колется? Хочется?

О, моя милая мама! «А олени лючьсе...»

– Правильно надо говорить «а олени лучше». Сами чувствуете, что так лучше. Чувствуете? Только сейчас почувствовали?

– Поедем, красотка, купаться...

– Да не купаться, а кататься!

– Какой разнир? Купаться-то, однако, лючьсе, как скажут в Лапландии...

– Красотка ваша букву «р» выговаривает?

– Вот пристали со своей красоткой, не злите меня, а то я её утоплю!

– Смотри, пупок развяжется. Это тебе не фунт одного дня Ивана Денисовича, а Край Одинокого Козодоя... Милка-коза ещё не раздоилась, как окотилась? А кроме козы, есть ли в краю хоть одна женщина?

– Есть, только она букву «р» не выговаривает!

– Фу, какая гадость! Перевернись-ка лучше на спину...

Смотрим дальше. Глава вторая. Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке, гряд, сизый селезень плывёт – пусть плывёт!.. Так ведь это царевич в бочке! Опять? Выходит, сказка

про белого бычка? Да не про бычка, а про белый пупок. А бычок-то лючье... Впрочем, какой разнир?

Берега Казанки бросовые, негде глазу отдохнуть – растительности никакой. Железная дорога рядом проходит, и жёлтые электрические поезда идут мимо: одни – в город, другие из него. Есть ещё одна ветка, она же Вета Акатьева, учительница, реальное лицо, прототип романа «Школа для дураков»...

И надо же такое выдумать: слабоумный мальчик (это про лыжника-перворазрядника!), ученик спецшколы (ну, это уже полная брехня!)!

– Неужели сами сочинили? Я, помнится, под лодкой сидел, с козой Майкой в канасту играл, а вы, оказывается, произведение создавали! В картах азарту много, я и внимания на вас никакого не обращал, только очнулся, когда вы во все горло заорали:

– Слияню!

– Дурак в бочке, дурак в бочке!

– А это разве не вы в бочке плыли?

– Конечно, нет! Того дурака стошнило, а я морской болезни не подвержен.

– Но вы же медитировали, глядя на пупок.

– Ни в коем случае! Это возможно только в Бискайском заливе, а у нас – пограницы заметят, и тогда мало не покажется.

– Что вам стоит слинять в Край Одинокого Козодоя?..

\* \* \*

*Цвета голубого царство, синей воды, синего неба царство и дорог синих. Бежит синяя дорога мимо цветов нетленных, мимо колокольчиков, ромашек, незабудок, резной гвоздики полевой, вьюнка, руты, любистры, ночной красавицы-любки, лютика, жарка, пиона дикого... Бежит к синей реке и синему небосводу.*

*Цвет покоя и мира – синий цвет, цвет Марии Голубой, цвет любви небесной.*

*Для каждого из нас есть своя голубая тропка – путь к любви. Но легко сказать: следуй по ней, человеке, а как на ней не заблудиться, не свернуть с дороги?*

*Туманом гадательным скрыты веши её, к тому же ноги у нас в путах и язык нем, и глаза слепые.*

*Для чего мы в мир сей входим? В мир зелёных и добрых деревьев, в леса благодатные, в поля и луга ромашковые? Для чего тешим себя прохладой воды, высотой бездонного неба, солнечными утрами, вечерними зорями, таинственными сумерками, звёздными ночами?*

*Помни, не бездумен ты, человек. Помни о долге своём перед Тем, Кто тебя сотворил. Это зверь безгрешен и невиновен в убийстве, потому что убивает, чтобы выжить самому. Это цветы, высасывая живые соки из земли, растят свои стебли, листья, распускают цветы, безвозмездно пользуясь дарами природы.*

*Не так человек, не таков он. Чем оправдывает себя? Растение скот питает, скот – зверя, и никто не тцится лишнего взять. Не так человек, не таков он.*

*Только ли человек рождён, чтобы плоть свою насыщать, гордость тешить, дышать, пить, наслаждаться вкусной едой, свежим воздухом и целебной влагой, превозноситься перед бессловесным миром и гордиться, что он есть господин и царь над ним?*

*В человеке только тело смертно. Если только о нём заботиться, то одним мигом и проживёшь, пока сердце бьётся. Единожды, как ночной сверчок: лапки кверху и – молчок.*

*Крепость телесная к своему приделу стремится ежесекундно, а за пределом, как и у бездуховной твари, то же самое – гниль да смрад. Не удержат плотского в пределах нетленных. От плотского не получишь семени духовного, ибо семя – дух, и ему жить вечно. Не растёт плод духовный без разума и труда сердца.*

*Так радей же, человек, о душе своей, как добрый садовник о плодах сада своего, как сеятель поля своего радеет о добром зерне.*

*Что мешает человеку заботиться о ниве будущего? О царстве голубом? – Тело. Оно выпрашивает, выплакивает, как дитя капризное, исполнения своих желаний минутных. Но разумна ли та мать, которая даёт себя уговорить? Разумно ли мудрой воспитательнице становится рабой неразумного дитяти? Мать, приучай дитя к работе, мускулы души развивай, чтобы копилась в них сила духовная, она так же важна, как крепость телесная. Труд физический ограждает тело от своеволия, излишней резвости и рассеянности, а молитва приучает жить по вере и истине.*

*Может ли садовник хорошим считаться, коли проспал в своём саду гусеницу-плодожорку – грех, испортивший плоды трезвости и бдения.*

*Берегись, человек, не забывай себя, помни, что рождён ты для Царствия Небесного – гони от себя радости сиюминутные, придёт смерть и ничего земного тебе не оставит. Всё превратится в прах и тлен, не поддавайся Духу Времени, какими бы соблазнами он тебя не искушал. Каждый свой день, как росинку с креста Спасителя снимай, помни о той смертной влаге, что орошает Его Пречистое Тело...*

Дачник в Горках прижился, как осот полевой, впился в почву всем естеством своим, сосёт соки земные, заедает их камнями небесными. На таких харчах растёт не по дням, а по часам.

Спросите, откуда взяться на небе камням?

Ответим: каждое наше слово гнилое, каждый помысел нечистый собирается в эти затверделости как преткновение, чтоб верные не забывали об искушениях и могли бы их отвращать, а грешникам – для усиления в них злобы поднебесной.

Так и с дачником тем случилось: злобы в нём было вроде совсем немного, сначала ни он, ни другие её не замечали, а как стал взрослеть – ух! А на Горкинских хлебах да ещё при таких отчаянных товарищах, тучнеть стал. Жёлтым цветком расцвёл в нём волчий глаз, грудь горой выгнулась, руки во всю ширь Волги: с левого берега нечистый ему самокрутку даёт прикурить, когда он на правом стоит. Фантастика!.. При таких руках и при таких ногах, что ему стоила за гору Кайлас зайти, перейти из Яви в Навь, чтобы людям нормальное видение подпортить?

Удивляются горкинцы, когда мимо на лодках проплывают: ишь ты, одним махом половину луга скашивает! Некоторые подсмотрели, как он топором работает в лесу: стук-дрюк – и рощи как не бывало. Пробовали, было, у Милки-продавщицы справиться (она с дачниками дружит):

– Скажи-ка, Милочка, откуда же такая сила у эфтого Сашки, он же городской, а пластается получше мужиков деревенских. Кто ему, лешему, помогает?

Вместо Милки ответ из речной глубины Наська-колдунья выудит. Ладошкой зачерпнёт воду и разбрызгает её по четырём сторонам. Разлетятся веером капельки голубые, посмотрит им влёт колдунья, обернётся к мужикам – у тех от её взгляда всякая охота спрашивать сразу отпадёт, кому нужно с нечистой силой связываться? Уж лучше тело изнурить: где не доешь, когда не доспишь, когда от усталости поясницу ломит при косьбе;

ноги сводит от воды студёной на рыбалке вскорости после ледохода. Крестьянствовать – это тебе не карандашиком чиркать.

А вот тот дачник и робит по-крестьянски, и с карандашиком управляется не хило. Прочиркал им все лето, бумаги намарал столько, что и воз не увезёт. Признавался: вот напишу тысячу листов – и всех убью!

Видели люди, как он доску, на которой Матерь Божия Казанская писана была, ту, которую Поля из разорённого храма домой принесла и схоронила, тайно притащил к себе в «скворечник», обтесал рубанком да и приспособил вместо стола. Не побоялся писать на ней свои рассказы. Вот греховодник, безбоязненный!

Полюшка ладанку, что на верёвочке носит вместе с крестиком, всем показывала для наглядности горькой жизни с такими бусурманами:

– Глядите, добрые люди, до чего они меня довели – мой сынок непутёвый и дачник? Почернели и крестик, и ладанка, и моя жизнь... Опутали, оплели со всех сторон, беззаконники, как поганки гнилой пень. Всяк грех – и свой, и чужой – на душу беру, душа чернеет под печалью. День и ночь молюсь, чтоб забрал их всех от меня Господь.

Дошла Полюшкина молитва до небес – съехал москвич-писатель от Красалымовых.

Через месяц слух пронёсся: бывший квартирант старухи Красалымовой воцарился единолично на кордоне Заволжском, про него и там недоброе говорят – колдует пуще прежнего: белки ему служат, а из пены дядьки выходят, как на острове Буяне.

Мужики только покрякивают от бабских фантазий: надо же такое сбрехать!? Какие такие «белки»? То девки трясинские подолами перед ним трясут, а он их щёлкает одну за другой, как орешки. «Дядьки» – гости из Москвы, начальство. Они, конечно, богатыри. Жеребцы! На диетических продуктах из спецраспределителя разожрались. И не из «пены», а из дюралевых «Вихрей» вылазят. У них – всё: и машины и лодки! До Мелкова прут на «Волгах», а по Волге – на моторках, мощностью в сорок-шестьдесят «л.с.», то есть, лошадиных сил. Петька и Сашка в угоду им камни небесные жуют и теми жвачками приезжих потчуют. Привадили многих – отбоя нет, всё едут и едут... Многим мужикам это не нравится, а бабы только посмеиваются:

– Или вам, мужчины, завидно? Так и валите к ним, коли не жалко душу погубить.

– Об том, чтобы к ним «валить», речи нет, однако, сила большая там скопилась.

– Он, то есть егерь городской, бабы говорят, крольчиху котом покрывал.

– Ну, и что получилось?

– Хулиганство! Отбуцкать бы его...

– Кого? Его?! – засомневались бабы.– Да вы его боитесь, как незнамо кого! Он как по деревне пройдёт, так вы к нему – рысью: «Не хотите ли, Александр Батькович, в баньке попариться, бутылочку распить с нами не побрезгуете с закусточкой, соответственно погоде? Можно и грибочков, капусточки квашеной, ради такого торжества выставить! Огурчиков с грядки, лучку не желаете ли?!» Эко, мужики, вы пред силой трепещете. Ленка вот не побоялась!

– Какая Ленка? Вспомнили... Да её уже давно на свете нет.

– Ан есть!

– Кто видел?

– А хоть бы и я!

– Божись!



– Рожу сперва умой, чтобы я пред тобой божилася!  
– Э! Не дразнись, стерва!  
– Началось! Где православные зашумят, там обязательно мордобойство. Хватит вам по старому месту языком елозить! Была Ленка, да сплыла. Теперь у него лебедь.  
– С лебедью живёт?  
– Опять, бабы, брехать! Ох, и анация вы мелкая!  
– Какая она лебедь? Это у неё волос в белый цвет крашен!  
– Да мы не про ту лебедь говорим, та была леблядь. Мы про настоящую, белую, живую...

Это они, жительницы горкинские глазатые, узрели Её...

Что это, что это белое?

Что это, что это нежное?

Что это, что это снеженное?

Царевна-лебедь появилась в наших грешных пределах.

А князь-то Московский, егерь Заволжский на песке утреннем телом раскинулся. Бицепсы под гладкой кожей мерцают загадочно. Грудь упитана мышцами, два коричневых соска, как два зверька одноглазых, косят друг на дружку; впадины подмышечные – чаши с благовонием; лодыжки гладкоструганные, нежно-бледно-бирюзовые у круглых косточек; пальцы крепкие, хоть гвозди ими выдирай. Нет в этом существе изъяна телесного. Всё совершенно: и тело, и лицо, и имя, и отчество, и фамилия. Следит егерь за своим здоровьем. Каждое утро – пробежка по берегу, зарядка, наклоны, приседания, махи ногами и руками, бег на месте...

Диета: лесная малина, мороженое со сметаной. Из алкогольных напитков – сухое белое вино. Полностью игнорируется мелковская «гнилушка», клиновский «сучок», завидовский «вермуть».

Пляжик, на котором егерь встречает рассвет – крохотный песчаный пяточок с пучком жестокой травы у берега.

– Эх, чёрт, – досадует он, – опять Борька-пастух опередил! Загадили его коровы всю территорию. Щит надо Фёдору, клубному начальству, заказать, на нём надпись сделать: «Запретная зона».

Запретить всякое дерьмо: старых, больных, немощных, уродов, слепых, дураков, идиотов, хроников, аллергиков, неврастеников, слабоумных, мертворождённых, бедных, рваных, нищих духом, плачущих, кротких, милостивых, чистых сердцем, нытиков-правдолюбов... Недостойны они вместе со мной губами ловить свежую воду, утолять голод, насыщаться ароматной малиной, вдыхать запах лепестков, смотреть на звёзды, купаться, загорать...

«Моё!» – как звучит! «Запретная зона!» – как звучит! Сам свил гнездо, сам наполнил его своим совершенным телом. Футляр – запретная зона.

\* \* \*

Утро туманное. Холодит роса чистое тело. Лилии под водой нераскрытыми зелёными кубышками холодят глубину речную, по запретным веткам ветерок пробежал. Тучки прохладные на небе дрогнули – это солнце провело по лицу неба тёплой ладонью, пропуская в мир своё лучистое добро для зелёных деревьев леса, дымчатых трав лугов, лиловых колокольчиков, смолки, вереска и можжевельника, – добро голубого царства

любви. И потерявшему надежду шепчет: «надейся», и неверующему шепчет: «верь!», и обойдённому любовью шепчет: «люби!»

Что это, что это белое? Что это, что это нежное?

Раскрылось. Дрогнуло. Сморщились, как от боли: вода, небо, воздух; будущее, прошлое, настоящее. Боль радость души открывает, как ключ – дверь; поцелуй – губы; слова – горло; звук – уши; свет – глаза... Боль – ржа, она враг лезвия топора, ножа, сабли, ятагана, кинжала, клинка, шпаги, рапиры, бритвы... Враг всего, что рубит, режет, расчленяет, ломает, уничтожает. Боль – враг запретной зоны «моё», враг хохота без веселья, враг бега без цели, отжимания, приседания – безупречной формы бездушной...

Что это, что это белое? Что это, что это нежное?

И вдруг засосало под ложечкой. Подумал: «перегрелся», поднялся с земли, скользнул взглядом по морщинистой воде. Не было с ним такого раньше никогда. Опять судороги прошли по телу. Решил: «разогреюсь». Растянулся на горячем песке, отжался сорок раз – не помогло. Что за дела? Опять зазнобило. Осмотрелся. Никого. Берег пуст. Но, чу! Чуть дрогнули острые пучки береговой растительности – остролиста с сиреневыми чесночными цветочками. Кто там? Глазок чей-то тёмно-карий и ещё что-то белое, нежное...

«Чёрт! Завтра же щит привезу!»

Ой, лужок, лужок, ой, тёмный глазок, мелькнувший в зелени, когда утреннее солнце тёплой рукой раздвигает ночные облака, чтобы вылить на землю все своё золотое добро. Дрогнуло. Заболело. Забелело. Заголубело.

– Кто ты?

– Царевна.

– Какая?

– Лебедь.

– Что за чушь! Кыш, кыш!.. Ишь, лебедь какая нашлась.

– Приплывать буду. По утрам.

Исчезла, растаяла, словно и не было её. Князь Заволжский глаза протёр:

– Да... дела! Выходит, покой вам, Александр Всеволодович, только снится. Куда ни кинь – всюду литература. На тебе! В лесничестве, в дебрях волжских «лебедь белая плывёт» и по-человечески, пушкинским слогом глаголет. Пригрезилось, очевидно. Красивое слово – «грёзы». Только в нём энергии мало. Символисты, имажинисты... Да, ярости мало. Глубина ярости определяет энергию, силу личности. Добро – свет... Постой, постой. Так. Значит, попробую проследить. Добро, светло, тепло. А по цвету? Небо посветлело, вода поголубела, и открылось Царство синей воды, дороги синей, синего колокольчика, малинового кипрея. Ну и что?

Птица пролетела. Белая. В запретную зону, в «моё». Что за чушь! Не расслабляйтесь, сударь, вам с волками здесь жить. Зимарь предупреждал насчёт Красалымова. А мы ему – четвертинку, а больше ему и не надо... всё равно опьянеет, потому как не закусывает. Я этого места теперь из зубов не выпущу.

Поднялся, стряхнул сухой песок с золотистых ляжек, подрыгал ногами и пошёл к моторам. Цилиндр барахлит. Надо подтянуть. Завтра гости. Ах, как-то нехорошо внутри. Что-то неловко. Лебедь белая. Грёзы. Слово-то какое – грёзы. Рифмуется занятно: «грёзы» – «грызы». Гризодубова. Гризодубова приезжает завтра. Ха, ха, ха!

– Эко ржёт! Конь, чистый конь, по всей Волге разносится. Дети пугаются, бабки с печек брякаются, беременные младенцев скидывают, петухи с насестов падают замертво.

– *Ау, матушка! Хохот этот сатанинский – предвесть злая. Знать, скоро обернётся егерь серым волком.*

– С волками жить – по-волчьи выть, – вздохнул, лёжа на утреннем песке наш князь.  
– Обещает под ногами землю подогреть. Стенка на стенку, а по стенке и шапка. Что может из этого выйти? Да какая, впрочем, у них информация? Деревня! Кустарщина!

– Что ты хмур, как день ненастный?

– А-а-а-а, это ты, обетованная! Приплыла? Как в сказке? Примем за реальность. Плыви сюда, лёгкое перо, грёза. Не боишься, что загрызут? Хорошая, хорошая. Дай поглажу пёрышки. Вот какие... Тёмный глазок, отчего плачешь?

– Не ходи волком, Сашенька.

– Знаешь волка?

– Знаю.

– Должна знать и другое: не свободен я.

– *Ау, матушка, – проплакала лебедь Полинкиным плачем, – как жить будем?..*

– Уву – нгау-у, – потянуло из нутра, на лице проступила морда волчья:

– Хочешь сопляка того сохранить? Того Сашеньку с серыми глазами, умиление старушек-пенсионерок. Того, что на велосипеде ездил в какую-то Страну Одинокого Козодоя, чтобы познакомиться с Алисой из Зазеркалья?.. Сжал кулаки, загнал зверя обратно:

– Не тронь меня сегодня, ради Бога! Да, сероглазым был, да тётушки на скамейках восхищались: «Посмотрите, какой мальчуган славный!» Да славным был, скромным, был маменькиным сыночком (отец меня не любил, «выродком» называл – как в воду смотрел) и спортсменомперворазрядником был, да любил свою Первую – Голубую Мечту...

Давай вспомним, как все началось. В тот день я без спроса съел всю сметану. Мать отругала не за то, что съел, за то, что другим не оставил.

Обижен я был очень – причём здесь другие, может, им и не хотелось этой сметаны. Вышел в наш скверик погулять. Ничего нового я в том скверике не обнаружил. Что могло быть там нового? Скульптура что ли типовая – гипсовая девочка? Я её тысячу раз видел! А в тысячу первый раз и заметил – до чего же грустно и обижено её личико: носик отбитый, из правой ноздри торчит ржавая проволока от арматуры... Когда над ней, бедной, издевались, ей ведь нечем было защититься – руки тоже изуродовали...

Девочка из соседнего подъезда (раньше я и её не замечал) тоже выглядела в тот день обиженной и одинокой, как гипсовая.

Все в этот день казались мне такими же никому ненужными, как я.

Соседка, правда, была не одна, а со своей собакой. Упрямая тварь рвалась с поводка и все норовила добраться до моих штанов, а может, хотела просто удрать. И удрала. Я погнался за ней, пытаюсь поймать ремешок, который волочился по земле как чёрный глист... Пока я бегал, девочка стояла и горько плакала, и тут мне стало ясно, что её тоже не любят дома и ей достанется за собаку, как мне за сметану. Так мы и познакомились, а домашнего

любимчика – Ральфа, мы всё-таки догнали. С тех пор и началась наша дружба, и продлилась она до тех пор, пока мы не выросли. Она превратилась в красавицу. Я жутко её ревновал, я ревновал её сильнее, чем любил, ревновал, как умирал, ежеминутно, ежесекундно. Жгучая боль, жар, онемение всего тела и души, слабость и озноб – вот такая любовь! зуб на зуб не попадал, когда начинался приступ ревности. Жизнь по капельке, казалось, выходит. Из-за чего я терпел такие муки? Ты же знаешь, она – сама чистота! Но достаточно для меня было одного постороннего взгляда, мимолётной улыбки прохожего, как вспыхивал этот адский огонь в груди. Пробовал бороться: изнурял себя на тренировках, сел на строжайшую диету, глотал успокоительное – не помогло.

Представляю, как ты ржал, глядя на то, с каким упорством я сопротивляюсь этому изнурительному чувству. Вся жизнь была поделена на два момента: с ней и без неё. Без неё на меня жалко было смотреть, а с ней... – нет слов, чтобы описать это блаженство. Я понимал, что умираю и что скоро не выдержу! И тогда ты, ты, утверждаю – ты! подал эту «спасительную» идею.

Ты шепнул: «Обрати внимание на себя. Поупражняйся в этом внимании, дай себе задание: ежедневно по тридцать-сорок минут созерцать собственный пупок».

Не прошло и полгода, я родил в самом себе волка. Волк и я, Сашенька сероглазый, стали неразлучными ненавистниками святого чувства любви.

Ещё до того, как ты во мне родился, я почувствовал облегчение. Вся любовь во мне просто выветрилась. Никого и ничего больше не было во мне, только ты. Только ты и я – это прекрасно!

«Я» – огромно, оно растёт из меня, как цветок на стебле – пупке. Нет ничего интереснее, как следить за его ростом, наблюдать за превращениями, исходящими из его глубин.

Сначала возник бутон, стал разворачиваться, появились лепестки, комочек лепестков разошелся вокруг сердцевины, изнутри выдвинулся пестик, а на нём – ты, серенький волчок!

Если бы не ты, я к ней ни за что не подошёл бы. Всё, что со мной происходило в последнее время, было интересней всякой любви.

Замечал, добрые люди нас чуют за версту. Мы им, наверно, плохо пахнем.

И всё-таки я не мог тебя послушаться, и подошёл к ней, как ты этого хотел.

Она, такая деликатная, и виду не подала, что ей неприятен наш запах – только ноздри слегка раздула, но нос тотчас прикрыла платочком. Когда я по твоему приказу (теперь уж по приказу, а не от чувства, какой ужас!) наклонился, чтобы поцеловать – она отпрянула и задрожала. Как же она тогда испугалась!

Знаешь, волк, как добрые любят спасать, и какие при этом у них лица? Странное дело, у них глаза голубеют, будь они до этого хоть какого цвета, хоть чёрные, хоть карие, хоть зелёные, хоть серые.

Почему я должен был её загрызть? Ну, жила бы себе и жила.

– Не будем ссориться, – проворчал волк. – Я университетов не кончал, как ты, мне абы харч. Про старое не будем вспоминать. Загубил девчонку – подумашь! Мало ты их грыз до и после. Мы ведь с тобой древние жители, поднатужимся, и пещерные времена можем вспомнить.

– Не мешай, пока от меня ещё чуть-чуть своего осталось, хочу досказать. А запах волчий я учуял, когда стал отпадать от её горла, напившись крови. Дух тяжёлый, вкус приторный... И ещё драпри увидел: фиолетовые, красные, синие, зелёные и жёлтые, они-

то подымались, то опускались, наконец, все разом слились и пробили небо, а там – зияющая вечность.

– Вот я и говорю, мы университетов не кончали, чтобы так складно разговаривать. Кусай лебедь, без всяких разговоров, кусай, тебе говорю! И тут раздался голос из-за кустов, голос деревенский пронзительный, как у петуха, который по преданию всякую нечисть к утру разгоняет:

– Козёл! Почто чужую птицу подманывашь? Своей скотины полон двор! И лошадь тебе дали, и кролей прибрёл, и нутриев развёл...

И от крика того волк сгинул, остался лежать на песке один егерь.

– Ты чего горланишь, Говоруха?

– Кыш, кыш, лебедь белая. Куда залетела? Волку в зубы захотела? Лети прочь отсель, от проклятого.

– Будешь ругаться, – пригрозил егерь, – оштрафую! Не видишь, здесь «запретная зона»?

– Ты меня зонами не пугай, я пуганая, – отгрызнулась Говоруха, отгоняя лебедь от берегов. – Это ей «запретная», потому что здесь волки живут, и головку ей свернут.

Не вняла совету тётки деревенской сказочная Царевна-Лебедь, непонятен ей был простой говор, пообещала Царевичу:

– Завтра прилечу.

\* \* \*

– Во, мужики, сами гляньте! Егерь с лебедью живёт, открыто. Он ей домик отдельный построил, с верандочкой. Наличники на окнах резные, крылечко такое затейливое. На клумбе цветы посадил, каждый день по двадцать вёдер выливает на них, чтобы росли – здесь ведь голимый песок.

– Цветут?

– А то!

– Чай пьёт на веранде вместе с ней. Она голову ему на плечо положит и в глаза смотрит – ну, совсем как человек.

– В птицу влюбился, а Ленку загубил.

– Одну что ли Ленку? Половина Трясина – с пузами от него. Для Поли Красалымовой работа будет.

– Скажешь тоже! Теперя ей полная безработица грозит – в больницы девки бегут, чтоб разрешиться от бремени. День там пробудут, на следующий, гляди, и «родят»! Вернутся домой свободные – грехи дальше.

– Тяжело, говорят, батюшкам такие грехи отмаливать...

– Скажи-и-ите пожалуйста, попов задумали жалеть!

– Ещё кто-нибудь про лебедь знает?

– А может это евонная баба по участку расхаживает в белом платье?

– Мы что? Совсем того? Не можем птицу от человека отличить?

– А ежели по пьяни? Вам с перепоя ещё не такое представляется...

– Говорите, цветы насадил? Да это, конечно, с его стороны глупость большая – на том месте картоха родит рассыпчатая.

– На кой ему картоха? Ему гости из Москвы чего только не навозят из своих «суперов».

– Да... отъелся горох, пора лущить.

– И все ты, Настёна, знаешь...

– Русский народ от всех народов отменный: Ваську судят, а Ванька в свидетели рвётся, чтоб приятеля засадить.

– Чего народ хаешь? Ведь про лебедь шёл разговор, а не про народ.

– Заладили: «лебедь, лебедь». Мутит нас егерь – вот в чём дело!

\* \* \*

– Что, соловушка, невесел? Что головушку повесил?

– Чёрт! – ругнулся Александр Всеволодович и подумал про себя, – хорошо, что эта хоть лебедь, а не Красная Шапочка, не станет спрашивать: «Отчего у тебя такие большие глазки, отчего и уши, и зубы большие?». Зубы-то уж давно не мои, а волчьи.

– Съем я тебя, Царевна, съем!

А в деревне главная тема:

– Ой, что делается на кордоне!? Егерь всех собак перестрелял, всех кролей передал, нутрий потопил! Всё хозяйство своё расхитил, лодку и щит на щепки изрубил! Слышите, горелым несёт, дым валит, мгла дымная по всей Волге стелется? Теперь мы пропали! Лес возгорится, торфа! Это от домика лебединого пожар случился!

– Говорят, кто-то домик поджёт, а саму лебедь загрыз, вот он и лютует!

– Тамарка видела, как он плакал над своей птичкой. Могилку ей выкопал, убрал всю в белый щёлк, как невесту, схоронил и памятник поставил! А и ещё видела Тамарка мальчонку незнакомого. Этот мальчонка невесть как пробрался к могилке, стал её украшать неведомым камнем – голубым с переливами. Хотела Тамарка те камушки подобрать, так они у ней в руках растаяли, потекли.

– Чей, интересно, мальчик тот?

– *Ау, матушка! – откликнулась старуха Пелагея. – Мальчик тот – предвесть...*

## IX

*Станьте вы, горы, по-старому,  
Горы толкучие, звери рыскающие!  
И вы пейте, и вы ешьте повеленное,  
Повеленное, вы, благословенное.  
Теките вы, реки, где вам Господь повелел.  
Уж вы, ой еси, да все тёмны леса!  
Вы не веруйте да бесу-дьяволу,  
Вы поверуйте да самому Христу.*

– Так чего тебе не спится? Али тебе, свет Всеволодович, терем нехорош? Разонравился? Зачем же ты прежнего хозяина из него выдворил? Позавидовал? А как захватил, так уж сразу и не надобен стал? Руки загребушие, глаза завидушие. Быстро стал чужой дом не мил: неблагоустроен, без водяного отопления, без тёплого туалета. Прежний владелец, Дима Астахович, не довёл строительство до конца – собирался баню ставить и погреб вырыть. Ты его сковырнул, как незрелый прыщ. Куда податься хохлу бендеровцу? В большой город нельзя, в районный центр тоже, выходит, даже в лесу ему места не нашлось, разве только на дальний Север податься? На кой хохлу Север сдался? Если подумать – вечная мерзлота, что она может родить? Диме земля нужна, чтобы на ней он смог цветов насажать, помидоров-огурцов и прочих овощей, а главное, чтобы цветки-цветки цвели, глаз радовали и родину напоминали: чернобривцы, крученные панычи, астры махровые, гладиолусы разных расцветок и... розы. Дом он тоже стал строить с размахом, на западенский манер: второй этаж – мезонин.

Некоторые удивлялись:

– К чему чердак? Не натопишься зимой.

Спасибо деревенским – своровали пиломатериал.

– Им надо ещё благодарность от имени Александра Всеволодовича вынести: подговорили начальство вместо хохла москвича поставить.

– Скажи мне, брат овинник, отчего человек крадёт?

– Этого никто толком не знает. Сам удивляюсь: зачем ему чужой гвоздь, а он всё равно его в карман прячет, не иначе, как для интереса воровства.

– Для интереса? Это мы, домовые, конечно, можем понять. Сами, случается, поиграем и – бросим. Забавно смотреть, как хозяева по всем уголкам шарят, чтобы найти то, что мы из озорства припрятали, как радуются, когда мы им «пропажу» незаметно на место положим. Вот смех!

– А для чего, кум, нашего хозяина из дома без моего разрешения выгнали? Я этого не желал. Помните, как этот егерь с Димой обедал, чай распивал, потом – пинком под зад. Среди нас такого не водится, даром мы «нечистями» называемся. Может, он вовсе и не человек, и не нечистый дух... А так...

– Упырь он кровожадный, вот кто он!

Ночь. За окном сосны шумят. Темень. Сигареты кончились. Неприятно как-то в доме. Ангел Страха летает по пустым комнатам. Акустика – как в концертном зале. Ничего не оставил после себя прежний владелец: ни столика, ни шкафчика, ни кровати, один стул, на котором новый хозяин сейчас и сидит.

Наплевать, обростём добром.

Что за дела? Кто-то шушукается за спиной. Как назло батарейки сели, фонарик не работает. Проклятая страна, всякое дерьмо – дефицит... Выйду что ли, проветрюсь...

Вспомнил почему-то Есенина: «Я не видел, чтоб кто-нибудь из подлецов так ненужно и глупо страдал бессонницей». За точность цитаты не ручаюсь, но смысл её не путаю. Совершенно точно: подлецы не страдают, так как для страдания нужны чувства, а я чувств не имею, значит, и совести у меня нет, и в этом я не виноват, таким родился. А насчёт Димы... Во всяком случае, не из-за него бессонница – не жалко мне его ни капельки. Дураки утомительны. Ха! Могу повторить, могу прокричать, всё равно никто не услышит. Я один в радиусе, как скажет друг Самоненко, порядка семи километров. Можно вслух и с самим собой поговорить: нервы всё, милостивый государь, нервы.

Вспомните, ведь вы – бывший воспитанник школы для дефективных, и аттестован как дурак со средним неполным образованием. Э, не темните!

Будьте честны хотя бы с собой наедине... Наедине? Вы уверены? Так кто же всё-таки шушукается за спиной? Не леший и не домовый, в этом я, как честный подлец и честный атеист, уверен. – Нет здесь никого! Одна безлюдная ночь кругом. Все уехали. Может ли невидимое издавать членораздельные звуки? Теоретически это возможно. Физика элементарная. Звук – колебание. Вопрос за субъектом. Есть субъект, есть и сила. И тогда возможен и звук, и образ. Хотя бы раз услышать невидимое, увидеть его...

– Хочу!

И тут кто-то отчётливо произнёс за спиной:

– Сидел бы ты лучше дома!

И забубнило явственно, и явственно увидел он две фигурки у заводи, где лодки привязаны, и кобель Байкал спит под берёзой. Они, эти тёмные фигурки, портки стирали и рубашки-ковбойки, и при этом ещё ворчали:

– С переездом этим не успели дома постираться. Вона, как угваздали вещички – никакое мыло не берет грязь и пятна, сколько не оттирай песком. Попотеть пришлось, как мебель в лодку грузили. Эх! До чего же упрямым Дима оказался! Истинный хохол упёртый. Сколько знамений ему делали, чтобы не торопился мебель приобретать! Он-то не знал, а мы в курсе были: жить ему на кордоне Заволжском недолго...

– Да не переживай ты, кум, не переживай. Сейчас месяц из-за тучки выглянет, мы и обсохнем

– И, что характерно, будут танцы!

– А мне бы вместо танцев – пол-литру. Косточки ломит, плечо надсадил, когда комод ташил. Смешно получилось: Димка пыжится, надувается, вспотел весь, думает, это он один с комодом кувыркается, и не знает, что без меня он бы и с места не сдвинул эдакую тяжесть.

– Зимарь, скурья нога, посмеивался, глядя на то, как его бывшее начальство упирается...

– Ему, окаянному, первая радость! Он Диму не любил за то, что не пьёт, не курит, чёрным словом не ругается.

– Тихое было житьё, что ни говори. Жили как люди, припеваючи...

– Страшно подумать, что будет творить этот волк!

– Да, кум, хоть из дому беги. Только было мы человеческий облик стали принимать, как опять в зверьё превращаться станем.

– Не наша воля.

– По нашей воле мы хоть немного человеку помогли. Помнишь, как отваживали эту ведьму Клаху, которая под него клинья подбивала, её мужика из-за собаки утопили, вот она и решила устроить свою судьбу с тихим и самостоятельным хохлом. Я ей в носу щекотал, заставлял чихать, она после пятидесятого раза уписалась! Из дома как выскочит и – под куст. Какие могут быть после этого любовные дела? Зато эту, беленькую, никогда не обижал, никогда над ней не издевался. Сам всё в доме прибору, полы вымою, стекла протру. Как ей на любовную побывку прибыть, я цветов нарву всяких, наставлю кругом и радуюсь, когда она скажет: «Чем это у вас, Дмитрий Тарасович, так приятно в доме благоухает?»



– Баба добрая, стряпуха отменная, аккуратистка. С такой женой Дмитрий не пропадёт. Она под благодатью Божьей ходит, сам видел, как приходила к ней Мария Голубая, любви учить.

– Эх, кто нас несчастных пожалеет?! Хошь-не хошь, а пляши. Хошь-не хошь, а служи. Я в доме, ты – в овине.

– Тужу я, кум, сильно тужу, как подумаю под какой властью ходить буду. Как я эту козу ненавижу! Она ведь, чую, принудит в колокольчик для неё звонить! Да и Петька Красалымов, личность пьяная, заставит водку пить, вот кому мне подражать особенно неохота. Лидка-бесстыдница станет к разврату приучать. Хоть топись! Будь я водяным, залёг бы на глубокое дно, чтобы все это лихо мимо проплыло.

– Да и у меня в овине, куманёк, такие же лихие времена наступят. Конь Орлик говорил, мол, ничего Сашка-егерь в конях не смыслит: ни седлать, ни распрягать, ни запрягать не умеет.

– Ну, всё, – сказал тот, кого назвали «кумом», надевая мокрые портки и втягивая живот до самого позвоночника, чтобы застегнуть тугой ремень на пряжку.

Друг его тоже поднялся с корточек и с ужимками танцора балета проделал несколько па, вплотную приблизившись к стоящему в оцепенении злополучному егерю-москвичу, на свою беду оказавшемуся невольным свидетелем столь редкостного зрелища.

Постояв так несколько минут, егерь хотел было поскорее скрыться в доме, но случайно оглянувшись, не нашёл привычной картины – всё вдруг пропало: лодки, привязанные к пристани, беседка и домик лебединый, клумба с остролистыми гладиолусами...

Нет, не потому что было темно в эту июльскую лунную ночь на Ивана Купалу, а просто он сам шагнул за гору Кайлас, в запретную зону, о которой только в обычном состоянии мечтал, лежа в одиночестве на своём любимом месте – песчаном пляжике.

*Здесь оставались быть деревья и кусты. Дремучий лес окружал его с трёх сторон, а с четвёртой угадывались крутые волжские берега. И не темень, а свет господствовал над землёй, но сама земля казалась непривычной, какой-то незнакомой, не такой, как обычно. И воздух, и вода тоже были иными.*

*Человек попытался сдвинуться с места, но оказалось, что в этой среде нельзя ходить в привычном смысле этого слова, а можно только двигаться, двигать себя по земле, и по небу, и по воде одновременно. Когда он всё-таки сумел переместиться, то заметил, что расстояние здесь невозможно измерить – оно могло быть и сто метров, и тысячу, и миллиметр.*

*Перед ним стояли некие воротца без изгороди, одни воротца... Он толкнул створку. И тотчас раздался марш, сыгранный громко и радостно на небывало звучащих инструментах. Загугукало, забубукало со всех сторон: «Порубил, погубил, потребил, застрелил, задушил, заразил, затравил, отравил, устрошил, ограбил, обхамил, оскотинил...»*

*В бранных словах слышал егерь Сашка не упрёки и порицание, а похвалу и славословие в свою честь.*

*В этом чудном месте всё оказалось шиворот-навыворот: жуки тащили целую лошадь, подталкивая её грузную тушу своими крутыми, рогатыми головами, лошадь беспомощно дрыгала ногами в воздухе. Слабое превращалось здесь в сильное, а сильное – в слабое; чистое – в грязное, а грязное – в чистое. Кто лежал неподвижно – тот летает, кто*

ползал – прыгает до небес. Соловьи сидят в болоте и квакают, как лягушки, а лягушки с высоты птичьего полёта разливаются соловьиными трелями.

Солнце мутно светило, обезображенное дымной мглой. Звёзды мерцали тускло, а бесчисленные летучие мыши, ночные бабочки и птицы, живущие в ночи, нарядившись в дневные краски, украсив крылья свои яркостью и чистотой летнего утра, хулили Божий свет и глумились над ним, заявляя, что нет разницы между верхом и низом, между небом и зёмлей, между чистым и нечистым, между добром и злом.

Выплыли на поляну замороженную, на которой стоял егерь Соколов – начальник новоиспечённый, девы в зелёных бледных платьях, украшенные фарфоровыми чашками белых лилий на щиколотках и запястьях. «Женщины, – пронеслось у егеря в голове. – Женщины, это очень хорошо, значит, поладим».

Женщины выручат, выведут, спасут. За всю жизнь не встречал Сашка никого, кто бы мог для него сделать больше, чем женщины. Они всё прощали, всё забывали, шли на риск, жертвовали всем, даже собственной жизнью.

– Ко мне, милые! Ко мне! Выручайте!

Окружили князя Заволжского зелёные девушки, как цветочным венком, и каждая из них была полна особой прелести. Смотри, смотри, князь, что дарит дьявол душе, согрешившей перед Богом!

Запел хор девичий, кружась по поляне. У каждой певуньи свои слова – похвальные припевки:

– Из коровушек молоко выкликивала

Во сырое коренье выдаивала...

– Смалёшеньку дитя своё проклонила, Во белых грудях засыпывала...

– В утробе младенца запаривала...

– Мужа с женой разважживала...

– В соломе я заломы заламывала...

– Свадьбы зверями оборачивала...

– А ты, князь, – обратилась одна из плясуней-певуней к егерю, – чем знаменит?

Чем наше перебьёшь?

– Надо подумать. Не помню.

– Напомним! – загремел в ответ хоровод. И тут такое началось! В ликах, в личинах, в делах и обстоятельствах прошла перед князем Заволжским вся его жизнь.

Не забыты были и проказы скоморошья с царём Иваном Грозным, и камень александрит в спальне отцовской, вспыхнувший слезой кровавой в день убийства. Ленка, им погубленная в старой риге, камни небесные, которые грыз, наученный Петром Красалымовым – агентом адским, наряд палаческий, казнь протопопа Аввакума и... лебедь.

Некие неясные сущности притащили ни весть откуда этот сор – преступный послужной список князя Соколова.

– Ай да, князь! Где такого откопали, павы?

– Сам явился.

– Т-о-о-ось! – громыхнул чей-то бас морским приказным голосом заряжающего.

В тот же миг совлеклись с бедного егеря его одежды: джинсы и свитер, с ног – кроссовки, и сами собой откуда-то из темноты выплыли чудовищные крылья: чёрное,

красное и жёлтое перо. Крылья, словно знали, где находится плечо, ловко замкнули на нём застёжки, на голову сверху водрузился венец – петушиный гребень...

– Лети! – приказал бас. – Греби до воды! Взмахнул князь-петух крыльями, оттолкнулся от земли и полетел.

– Ай да бабы, ай да умницы! Удружили. Можно и баттерфляем, можно и брассом, можно и вольным стилем... Что вода, что земля, что воздух – теперь для меня нет преград! Нырну под деревья, а вынырну из облаков, провалюсь под землю, а выскочу на веранде, чтобы чайку попить. И никакой усталости, никакой кислородной задолженности – один восторг и упоение! За что такое увеселение в будний день?

– Порода, – восхитился кто-то невидимый.

– Князь сто процентов, – поддакнули из-за спины.

– Кто? – оглянулся. – Кто говорит?

Эге! Да он, оказывается, не один плывёт, за ним вереницей подружки зеленотелые. И все красавицы. Подумал:

– Это, кстати, мне не в жилу. Предпочитаю дурнушек, от них можно ожидать всяких перемен, была, скажем, страшна, как Божий грех и вдруг – само совершенство, это интересно...

За красавицами целый сонм чудовищ: рылы крокодилы, ноги с ушами, глаза – один в правой руке, другой в левой. Странные предметы: какие-то круги, колёса, палки, спирали, треугольники, что-то твёрдое, что-то студенистое, как кисель, амёбовидные медузы... Потоки всякой нечисти клубились за его спиной, меняя форму.

Но он – главный, он – впереди, он – лидирует. Куда же летит князь и весь его почётный эскорт – Брех, Курбат, Малявка, Враль, Пепка, Кропот, Нелюд, Курюход, Коверя, Шаровка, Хухра, Ревяка, Лазута, Гневаш, Тудыка, Попко, Торх, Таралыка, Дыляй – сыроярье, оправленное прозвищамикликухами, бестелое, лишь человеческой подлостью уплотнённое?

– Сюда, князь, сюда!

И тогда он увидел цель, к которой влекли его – трон без ножек, висящий в воздухе над бездной.

– Садись! – приказали.

Такого и представить он не мог: сидеть на воздухе да ещё в мягком кресле! Новоявленный владыка, старший егерь Александр Соколов, восседал на троне и возвышался над множеством невиданных сущностей, признающих его своим господином.

– Эй, вы, там внизу! – крикнул он в бездну. – За что мне такие почести?

– За лебедь, за лебедь!

– Вы что сами не могли её загрызть?

– Не могли, князь!

– Отчего же?

– Оттого, что белая...

– Оттого, что нежная...

– Оттого, что чистая, душа праведная!

– Что получу за заслугу?

– Увидишь мир невидимый, увидишь мир неузнанный, неявленный, неслышанный, вредящий, смердящий, окаянный...

– Танцы даёшь! Даёшь танцы!

*Всё запело, заорало, затопало, зарычало, запыхало – небо с овчинку показалось от шума, поднятого нечистью. От криков и завывания валялись столетние деревья, задирая свои вековые корни вверх тормашками. Веретеном закружило землю, повыскакивало наружу все затаённое, бесстыдно обнажая тайны и глубины пороков.*

*Чертовщина-лесовщина чёрта лысого тащила. Расплескалось темно, как в саже ведро. Уху-уху-ухо-хог! – залаял филин-носорог. Йоготок-ноготок схватит – жизни не хватит! Небо, небо, небо, съел бы, съел бы, съел бы! Собирайся, вороньё, рушить честное жильё. Что зелень-отрава, то за елью справа. Что чума да холера, то за оврагом слева, табак да вино – вали всё в одно. Вали в яму, чтоб побольше сраму. На кладбище – стук да грюк, едет кованный сундук с дивными дарами: костями да черепами...*

*Вылезай, народ, становись в хоровод. Вылезают скелеты, надевают итиблеты, платье-рваньё растащило вороньё. Пляшут чечётку и девки, и тётки, кто их, вправду, разберёт, где там грудь, а где живот – если б не было костей, скакать было б веселей!..*

– Сорви голову! Раз, два, три – в одну шестёрку становись! На первый-второй рассчитайсь!

– «Первый», «первый», «первый»!

–Какие же вы, право, стервы!

*Мёртвые гуляют – черепа летают. Бом-бом-бом – пляшут кости с сапогом... И вдруг в самый разгар веселья кто-то тихо, но грозно произнёс:*

– Да будет новый день, да будет новый свет!

*И стал новый день. И стал новый свет. Проникло солнце утром ранним, проникло в темень и глушь, посветлели охмурённые нечестью небеса, очистилась земля, обновив свой нежный лик.*

Усталый, разбитый, измученный предыдущей ночью, поплёлся домой егерь Сашка Соколов, задумчиво вертя в пальцах чёрное воронье перо.

– Ау, матушка, – отозвалась старая Пелагея, – спасёмся!

## Х

***Правда Кривду переспорила.  
Правда пошла к Богу на небо,  
К самому Христу, Царю Небесному.  
Осталась Кривда на сырой земле.***

– Машу Поднебесину осудили вчера. Суд был.

– Сколько дали?

– Четыре года строгого и два – высылки.

– Что так много? Разве у неё раньше были судимости?

– Скажешь! Смирнее её, может, одна Божья Матерь. Чиста, как вода в святом источнике.

– Так. Она им, как стали ей предлагать сказать последнее слово, ответила: «Не виновата я, сами знаете правду – не хотела с вами сотрудничать ни за какие деньги!»

– Как понимать: «сотрудничать»? Ведь сотрудники те, кто в конторе сидит, в бухгалтерии или служит секретарём у председателя.

– Ей такое предлагали? Почему же отказалась – работа не пыльная. Маша девушка грамотная и на машинке пишущей может печатать.

– Какая там машинка?! Не захотела честная девка под начальство ложиться, вот и подвели её под монастырь.

– Да ей в монастыре – самое место.

– До чего же бестолковый народ! За агитацию её осудили! Свидетельница Людмила Брыкина так прямо и брякнула:

– Мария Поднебесина нарушала общественный порядок – смущала меня и Лидию Горохову любовью небесной. Да к тому же совершала противоправные действия – сердце из груди вынала и нас им прожигала, как увеличительным стеклом, просто до самого мяса!

– До мяса, говоришь? Ах, ты, дрянь! Да тебя, будь то прежние времена, на костре сожгли бы как ведьму!

– Вы не очень-то язык распускайте, дядя Яша, а не то сами схлопочете срок – меня в милиции уважают! Кто-то не стерпел и съехидничал:

– Берут за хвост и на горшок сажают.

– Да, – продолжала Милка доказывать, что она дама козырная. – Я за прилавком пользу государству приношу: кого обвешу, кого обсчитаю, кое-что, конечно, себе в карманчик, но и в казну чуток положу – совесть-то имею. А Машке ещё мало присудили, я б ей пожизненное дала, а то, как вернётся, опять начнёт свои вредные действия... Какие могут быть «любови», когда хочешь деньгу большую заколачивать? Размякнешь, раскиснешь и про наживу забудешь, бдительность потеряешь, а мне ещё дачу строить. На дачников только и надежда, я им глазки сострою, они на сдачу и внимания не обратят. Деревенских, фиг, обсчитаешь – куркули!

– Ты чего, девка, вся в дерьме перед миром, а ещё насмехаешься!

– Совести нет! Истребители стали люди, никого не боятся!

– Кого на суде видели? Сашку? Был егерь?

– Не заметили.

– А Петька Красалымов?

– Тот, иуда, присутствовал. Говорят, что это он Машу в карты проиграл в тёмную с приезжими. Чтобы отыгаться, капнул: мол, занимается подрывной деятельностью, государственные устои ломает. Он и Милку в свидетели посоветовал призвать.

– Озоруют. Устои какие-то выдумали. Им бы самим шеи наломать! Девка – как овечка, сроду не мекнет.

– Умный человек смотри, дурак руками разводи, если ничего не смыслишь.

– А ты чего, умный, насоветуешь?

– Да ничего. Русского Ваню, чтоб не сказать грубого слова, всегда во что-то тянет. Уж убивают его и умывают – сколько веков! – кровушкой. На Святой Руси её хватало.

– Машу когда отправят?

– Пёс их знает.

– «Ведут на Север срока огромные, кого не спросишь – тому Указ», – пропел дурашливо чей-то голос.

– Распелся, арестантская морда. Слышь, Филька, ты у нас просвещённый, скажи, что такое: «строгий режим»?

– Строгий? Да я в нём ничего плохого не усматриваю. Душе спокойней – менты беседами не мучают и в самодеятельность не сильно тянут. Голоса уркаганские для сцены непригодные, а мозги к учёбе. На «строгом» больше по желудку бьют. На «общем» в ларьке на десятку отоваривают, на «строгом» – только на пятёрку. Горячее через день и хлеба четыреста грамм.

– Цирк, мужики! В цирке, если собачка скакнёт повыше, ей дрессировщик полный паёк обеспечит, а нет – сидит голодная. Так и зекам – сидите голодными, если не скачете, как положено.

– А бьют в лагерях?

– Случается.

– А убивают?

– Тоже случается, только, как докажешь, кто убил?

– Женщины в заключении что робят?

– Большинство по сельскому хозяйству: зерно перелопачивают, помогают хлеб убирать, на элеваторе работают. Конечно, трудятся под конвоем.

– Машка сумеет, она сноровистая.

– Тогда выпустят раньше срока за хорошее поведение.

– Ладно, ребят, пора расходиться. Вопрос закрыт, погребли в Мелково, в магазин. Выпьём за светлый путь Марии Поднебесиной.

– Сашка, а Сашка, слышь! Пёс с ней, с лебедью! Первое дело задуманное всегда лучше второго придуманного. Как сперва решили, так и будем жить: надоело с царями, надоело с вождями, надоело с революциями, надоело церкви ломать, надоело съезды собирать. Жить охота! Теперь Поднебесиной нет – кайф!

Лидка читала в «Литературке», что за границей всем людям позволено сожительство гуртом, как в первобытные времена. Там и писательству объявили амнистию – пиши без контроля всякую чушь, но только чтоб без политики. Можно и на улицу выходить голышом, можно и самого себя за ляжку ухватить. Можно и всякую рухлядь собрать, свалить в кучу – всё «искусством» называют! Правда что ли?

– Пётр Николаевич, удивляюсь я вам! Впрочем, сермяжная правда, как всегда за тобой. «Бихевиоризм» означает искусство поведения. Уговорил-таки меня – согласен: в пампасы, в прерии, в горы, в пещеру! Куда хочешь...

– Ага, пожаловали, – обрадовался Аввакумом при виде честной компании. – Подждал вас давненько. Раздумали в прерии?

– Усохни, резиновая чума. Чем угощать будешь? Галошей старой?

– Ах, как у вас здесь, преклонный старик, жутко воняет, – обмахнулась Майка коротким белым хвостиком.

– Действительно, изгадил помещение. Собирай свои банки-клеи и линяй отселева поскорей!

– Зачем же так грубо, кореш? Надо корректно объяснить господину Аввакумову, что мы проводим социологический эксперимент. Да, уважаемый, эксперимент! Мы – община кочевников, ступающая босыми ногами по асфальту больших городов. Долой прагматиков!

– Ура! – мекнула коза.

– Ждал, ждал и дождался, – горестно покачал головой Аввакумов. – Ничего хорошего. Ступайте, господа, ступайте. Бог вам судья.

– Убогий старец употребил древнерусский глагол в повелительном наклонении.

– Гонит он нас, сука, повелительно. Я человек необразованный, я его сейчас просто сковородкой огрею.

Бывший зек от грядущего удара отпрянул по всем правилам самообороны и грозен стал, так грозен, что гости застыли с открытыми ртами: не тот лик перед ними возник, не тот человек, не та стать... ах! И одежды священнические... Увидев преображённого старца, коза струхнула:

– Мы, батюшка, венчанные.

– Брысь, животная! – отрезал грозный старик. – Почто лезешь к человекам? А вы, смерды, смотрите сюда! – а сам пятки вывернул. Завертелось время...

*На волжском берегу – церковь. Звонят колокола. Вечерняя заря по воде разлилась.*

*Из ворот монашек выходит, над глазами – брови чёрные дугами, ликом бледен, телом сух.*

*Постник. Подбрёл к берегу, присел на песок, стал храм строить. Дивный, из камушков.*

*Переливаются те камушки голубыми огнями, стрелки ясные отбрасывают, лучи рассыпают по всей округе...*

*Вдруг – толпа.*

*Впереди сам патриарх Никон спешит к тому дивному строительству на берегу. Зачем? Да разрушить!*

– Сломай свой храм бесовский, – говорит монашку, – не то вдарю!

– Чем вдарить? Ногой или палкой?

– А чё больней?

– А ничё!

– Я тебя знаю, непоклонный!

– Знаешь. Из одного корыта монастырского варево хлебали.

– Помнишь?

– Ты-то, поди, забыл...

– Ух!

– Отступись, не мешай делу русскому. Мы с тобой годы живём, а строению сему стоять до Страшного Суда.

– К расколу зовёшь?! В темень ввергаешь?

– От моего храма – свет. Может, ты света этого дивного боишься?

*Смотри, как боюсь, – вдарил посохом по церковным стенам.*

*Раскололся храм пополам. Никонова половина алым, пожарным светом занялась, раскалилась, как наковальня. Противник своё в горсть собрал, в карман положил и пошёл прочь.*

Время миновало.

Теперь уж не в монашеской ряске тот дивный строитель, а в иерейском облачении. И проживает далеко от прежних мест, и годков немало прошло. Деревенька мала, церквушка стара. Подымается поп по скрипучим ступенькам, отпирает ключом двери. Тихо в храме, темно. Запалил лампаду перед иконой Богородицы. Мыши скребутся в углях.

– Откуда ещё мыши при нашей бедности?

И вдруг за царскими воротами застонали, засопели.

– С нами крестная сила! – ужаснулся поп. – Ах, бесы!

Перед самым алтарём, на половичке, любодей с любодейкой блуд творят – вот так «мышь!» Подобрал подол рясы, да как пнёт сапогом голый мужичий зад!

– Не тронь, батька. Худо будет!

– Встаньте, бесовы дети!

– Ему завидно, – пропищала простоволосая грешница, даже в темноте было видно, как хороша!

– Будет и тебе, бесстыжая, – пообещал поп, намотав на кулак косы – не волосы, а просто кудель мягкая, нежная! Поволок через весь храм к выходу. Закричала женщина, запричитала, забила в его руках раненой птицей...

На шум народ сбежался:

– За что батька жёнку молотит?

– Отчитывает.

– Так и убить можно!

– А что в храме-то она делала? Служба ведь давно кончилась

Тут и мужик выбег, в руках подсвечник держит, медный, увесистый, он им размахивать стал и наступать с криком и руганью. Люди сразу догадались, в чём дело:

– Баба без платка, мужик в расстройстве... Знает кошка, чьё мясо съела. Нагрешили оба, а отец святой не стерпел такого сраму на святом месте!

– Однако чересчур строг...

Кто-то попросил:

– Уймись, батька, прости природу нашу грешную. Словом Божьим обличай, а не кулаками! Не слышит ревнитель веры, вошёл в раж.

– А ну, ребята, вяжи попа. А ты, дурак, дролю свою защищай, не дай Бог, прикончит!

Навалились всем миром на батюшку, оттащили подальше и отбуцкали под шумок с превеликим удовольствием: таков православный мужичок – любит покуражиться.

От души повеселился народ – без греха и вдоволь.

Лежит Аввакум на земле. Зубы в крови и песке. Никто не защитил, никто не помиловал. По щеке слеза сбежала. За что? Неужели он один греха боится, неужели только он один живёт по заповедям Божьим: не прелюбодействуй, предупреждает Священное Писание, ибо блудники не наследуют Царства Небесного. Я об их духовной пользе радел, их души старался спасти. Так чья же правда – их или моя? «Дом мой домом молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников...» – это слова Священного писания, так Господь сказал и выгнал беззаконников из храма. Значит он, Аввакум, прав? Почему же тогда сердце болит, почему совесть мучает? И обожгла внезапная мысль, и стыд затопил душу: «Говорю, что Бога люблю, а людей? Выходит, их не люблю, если не прощаю. Вот оно что! Страшный суд над собой вершу. Господи, прости! Прости и спаси, окаянного! Только бы в живых остаться, чтобы вымолить Его прощение».

Стал на молитву и вдруг – открылось. Пред глазами заплаканными явился образ небывалый: жена, вся в голубом, попирает землю, а над ней – двенадцать голубых звёздочек. И сказала Она ему:

– Не плачь. Вот тебе подарок за печаль твою, – и вложила в его раскрытые ладони горсть камней голубых.



Поднялся Аввакум на ноги голубой силою. Сила эта его до облаков вознесла и перенесла в Москву. А над Москвой златоглавой – звон колоколов, и на белом снегу чернеет толпа, по толпе плывёт чёрная молва, разнося слова:

- За что протопопа судили?
- Камни собирал на храм, Никоново разрушение.
- Теперь нехай их в Сибири собирает, смутьян.
- А и соберёт! Сибирь ведь тоже русская земля.
- Много ли собрал?
- Хватит. Посмотрим, как засияет пуще прежнего в далёком Беловодье.

Сохрани его Бог!

– Кто у него в кошёве? Никак баба?  
– Она, протопопица. Ишь, какая дородная. Уселась и умащивается, как клуша в гнезде.

– Да я не про жену его спрашиваю, кроме неё с ним кто-то ещё едет, кто-то в голубом...

– Смотрите, смотрите! Девушка пригожая... Она оковы с протопопа сняла и соболями укутала... Клуша-то, клуша тоже к соболям жмётся!

– Кони у них добрые, просто не кони, а звери какие-то: дым из ноздрей валит! Такие скоро батюшку в Сибирь доставят, не заморозят по такой дальней дороге. Попутчица у них отменная.

– Откуда только некоторые люди так складно брехать научились? Где ты видишь попутчицу? Их в санях только двое.

– Пень ты еловый! Я, может, очевидец: очи мои, глаза то есть, видят то, что тебе и не снилось! Такой дар мне Господь дал! У столба полосатого – корчма. В корчме четверо за столом пируют и радуются:

– Упекли вредоносного старого чудака в самую что ни на есть Сибирь! Подай, Майка, мою гармонь, растяну для пущего веселья.

– Во саду ли, в огороде выросла капуста, – проблеяла коза.

– А козе, что характерно, – загоготал гармонист, – всё капуста на уме, а нам, человекам, что?

– Кому это «нам?» – уточнил старшой. – Тебе что ли? А ты разве человек?

– Вечно вы, Александр Всеволодович, своё ехидство выказуете, скажите лучше, возведёт ли Аввакум свой храм в Беловодье?

– А если и возведёт, то, что нам до этого? Всё равно разрушим, ведь мы община кочевников, нам и расстояние, и время – по-фигу. Будем ломать, жечь, расхищать, менять. Поменяем и веру, и царя, и отечество, и валюту.

Северная земля, далёкий край, ссыльный. Там есть место, где яма в мерзлоте вырыта. Там-то и содержится ссыльный протопоп Аввакум с товарищами. Теперь их никто не узнает – вошь и сырая короста своё дело сделали, палачи тоже постарались: укоротили руки, от языков одни корни остались. Так за правильную веру, так за храм невиданный и нерукотворный им отплатили люди. Глаза гной обузил до азиатских щёлочек – нечем взглянуть на Божий свет ясно и широко. Речь стала другой, понятной только тем, кто без языка остался. Однако разносится по Руси слово аввакумовское: срезанное, сгноённое, а цветёт.

На Соловках, на Колыме, бубнят по-аввакумовски, и в Воркуте, и на Беломорканале, и в Якутске, и в Перми...

На казнь протопопа подбили царя Алексея те четверо, заявили в Москву вершить свой подлый суд. Народ их сразу опознал:

– Каты, каты приехали! Бежим, кум, на площадь.

– Никак немцы? Разодеты не по-нашему. Католики что ли?

– А коза зачем здесь?

– Поглядите, жёнка с ними!

– Нет, уж вы сами хворост на ваш костёр бесовский таскайте. Мы не согласны! Эх, от какой паскуды смерть должен принять наш праведник! Слов нет, слёзы душат.

– На всё Господня воля, Калистрат.

– Упокой душу раба Твоего Аввакума – вот уж и волосы от огня вспыхнули....

Пойду домой, мочи нет смотреть на такое тиранство...

Огненной свечой стало тело, поднялось пламя костра до самого неба, потянуло на Волгу дымную мглу. Прибило дымом крутую волну. Тихо кругом.

Что это, что это, нежное?

Что это, что это снежное?

Да ведь это лебёдушка, душенька честная, незамазанная, отбелённая страданиями, поднялась к небесам, к Божьему престолу.

- *Ау, Аввакум!*

И пепла не осталось.

Палачи от потухшего костра поскакали, поскакали да и сгнули, но не пропали навсегда – опять появились в родных пределах.

– Дверь отвори, хозяин, – попросила коза, – душно, как на пожаре. Вторая серия будет?

– Будет, будет, – пообещал всем сын прокурорский – Александр Соколов.

...На невском берегу топоры стучат, рубят, колют – щепки летят. Далеко летят и по сию пору все летят и летят, прорубают окно в Европу. Призраки по той Европе бродят, и колокол звонит из Лондона.

Горит-разгорается алым цветом наковальня: «Мы кузнецы, и дух наш молод, куём мы счастья ключи...»

– *Осип, скажи, где ключи от рая?*

– «Колыма, Колыма, чудесная планета, двенадцать месяцев зима – остальное лето...»

– Гражданин прокурор...

– Молчать!

– Гражданин судья...

– Молчать!

– Гражданин начальник...

– Ага, дождался – получай!

– Можно ли людей бить так, чтобы кровь из зубов текла?

- Можно, можно, можно... даже нужно.
  - И всего-то «Один день Ивана Денисовича».
  - Кто бы мог подумать о такой встрече здесь, в задрипанных Горках Едимновских? Вы, оказывается, ещё и Иван Денисович – никак не ожидал.
  - «У нас героем становится любой!..» Так пели в тридцатые годы, так, вероятно, пел и ваш батюшка, майор Соколов, бывший служащий советского посольства в Оттаве. Вы до сих пор с ним не в ладах? Впрочем, это к делу не относится.
  - После «Одного дня...» что было?
  - Не мне об этом рассказывать, об этом давно написано. Помните, «на острове Буяне»... и так далее.
  - Не темните, протопоп, скажите прямо: «Архипелаг»! Почему вы, вернувшись из ссылки не стали силой, способной всё разрушить? Почему не подняли молодёжь против системы насилия? Всё на любовь евангельскую киваете! Далась она вам, эта любовь! Мы ею сыты по горло.
  - Да вы её и не пробовали! Если любовь не нужна, то нужна, очевидно, колбаса и пиво.
  - Я макароны предпочитаю.
  - Значит, и в Италии побываете, в царстве макароньем...
  - Как вас понимать?
  - Просто. Надоест в Италии, отправитесь в Вену, венскую сдобу кушать и так далее и тому подобное, потому как вы, батенька, извините, сума перемётная. А надо бы было до отъезда с лебедью разобраться. Может, она и есть та самая евангельская любовь.
  - Ой, – всколыхнулась Майка, – дед про любовь заиграл.
  - Молчи, тварь, пугаешься опять под ногами. Из-за вас, скотов, люди человеческий облик потеряли, стаей звериной жить захотели.
  - Не смей ругаться, а то... – задрала перед Аввакумом хвостик и давай ему под ноги «орешки» сыпать, да ещё приговаривать при этом:
  - Собирай козье дерьмо, старый стервец!
  - Мы община кочевников, ступающая босыми ногами по асфальту больших городов, – провозгласила Лидка, задирая мини-юбку, как красный флаг. – Да здравствует свобода!
- Отвернулся Аввакум, прикрывая лицо, защищаясь от козьего смрада:
- А ведь в наши времена люди умней были.
  - «Душа, душа»... чего ты, мать, душу эту каждую минуту поминаешь? Где она? Кто её видел? Всё – в мозгах. Там как в гармонике: нажмёшь один лад, получишь звук, а до другого коснёшься – там своё звучит. В голове – всё переживания душевные, а души нет. Мозг можно рассмотреть в анатомке, а душу ещё никто даже под микроскопом не обнаружил.
  - Набрался учёности, бестолочь?! У! «Мозги, мозги...»
  - Чего ругаешься? Всю жизнь со мной живёшь и только знаешь, что скрипеть. А толку?! Не воспитала в детстве, как хотела, теперь уже поздно, поезд ушёл! Какой зародился, таков и родился. Мышь сиди под полом, а кот на крышу залазь. Зачем же ты меня всё куда-то волокёшь, не даёшь спокойно жить?
  - Не жить, а пить тебе не даю спокойно, сынок. Ведь хороший корешок в тебе есть...

– Про корешок не тебе, мать, говорить, а тому, кто помоложе, – захихикал скверно Пётр.

– Уймись, бесстыдник, такие слова матери бросаешь!

– Сама виновата, не начинай.

Старуха Пелагея с сыном своим под берёзой красалымовской сидят и переругиваются, знамо дело!

– Где твои друзейники? – спрашивает Пелагея.

– Тебе что за дело?

– Так. Ты им всё готов отдать, всякую прихоть исполняешь. Ведь есть в тебе, Петя, чувство, значит и душа есть, перевернуть бы её с плохого на хорошее.

– Хорошее – это что такое? Хорошее для меня – это когда весело, когда мы с общиной отрываемся, когда в самую темень опускаемся, а там в ней, аж дух захватывает, чего только нет!

– Откажись от таких товарищей, сын.

– А на кой?! Мне ничего не надо: ни хором, ни машин, ни одежды, ни еды хорошей – один кураж! А душой своей, если она, конечно, существует, хочу распоряжаться сам! Имею право.

– Нет у тебя такого права.

– Ты, мать, как камень против течения стоишь, мешаешь.

– Не ври, я в самом центре стою, на свету, только вот куда ни посмотрю – там одна темнота.

– Я же в законе, пойми, мне пути назад нет.

– Настрочили черти адовых законов, да вас, тёмных, научили их чтить. Эх, парень, закон выбрал не свой.

– Завела... Доведёшь, брошу разговаривать, пойду и напьюсь!

– Грозитель какой нашёлся!

## XI

*Вы б душу пасли постом и молитвою,  
Тихомольной милостыней,  
Поклонами полунощными...*

– Кто это голосит на погосте-то, люди? Вроде никого не хоронили.

– Кажется тебе...

– А вот и нет. Плачет кто-то.

– Сходи, посмотри, коли тебе на месте не сидится, не мешай беседе...

– Ты давай, Ванька, продолжай... А он? А она? Едрит твою мать, и так бывает!

– Хоть стреляйте, ребята, а всё-таки есть кто-то на кладбище, и Рекса мой уши навострил – верный признак, у него и нюх, и слух тот ещё. Пойду.

– Отвяжись, Первухин, если охота – сходи. Нам, лично, до лампочки, зачем лишний геморрой. Неприятностей и так хватает, ещё про волка не забыли в милиции, дразнятся. И чего только тебя в клоуны не отдали? Выступал бы со своим кобелём в цирке да деньги лопатой грёб.

– Пошёл я, мужики, не поминайте лихом, если что не так случится. На нервы действует этот плачь, не могу терпеть.

– Иди, иди, сознательный. Вернёшься – расскажешь, вместе посмеёмся.

Осенний вечер близок: не успел Первухин с Рексом дойти до околицы, как уже совсем стемнело. А голос в темноте ещё пуще прежнего надрывается и слова стали слышны:

– Ой-её-ой-её, горе-горькое моё, откуда ты взялся – навязался? Откуда ко мне привязался?..

– А ещё не верили мужики – плачет. Кто такая? Отсюда не видать, болото надо обогнуть только. Недалеко. По кому, бедная, голосит? По мужу или дитю? Вышел к окраине кладбища. Никого. Тих и пуст погост деревенский. Кресты старые да пирамиды со звездочками ветхие. Голос смолк.

– Ёп... понский городской! – выругался Первухин. – Ошибка вышла! Только зря протопал, да и от друзей теперь проходу не будет – задразнят «кловуном». Крикнуть что ли для успокоения души?

– Эй, кто есть здесь живой?

И тут же отделилась от крайней могилки с красной звездочкой чья-то тёмная фигурка и голосом Поли Красалымовой откликнулась:

– Есть. Это я, Коля.

– Господи, – удивился Первухин, узнавая, в приближавшейся старушке свою соседку. – Что ты здесь делаешь в такую пору? По ком причитаешь на всю округу, у тебя в доме, насколько мне известно, покойника нет. Это могилка Юрки Коптева, его, говорят танком раздавило в горячей точке.

– Так, милок, так.

– А ты тут зачем? Ты ему не мать, не бабка, вообще не родственница, так с чего бы так сильно переживать?

– Не чужой он мне.

– Вот как? – удивился Первухин. – Это почему же?

– А потому что я всем вам мать. И тебе, Коля, мать.

– Не рожала, не крестила, а мать?

– Божья.

– Ты, тётка Поля, случаем не того? Не сбрендила от своей несчастной жизни? Вот до чего мать довел этот гармонист хренов!

– Замолчи, глупенький. Бедные вы все, бедные. Молю, плачу, прошу Господа, чтобы простил грехи всем людям знакомым и незнакомым, родным и чужим.

– Молись, – разрешил Первухин, – это дело неопасное. Только удивительно, как ты всем нам знакомая старушка, да Божьей Матерью назвалась. Думал сначала, с ума сошла, а теперь вижу – в здравом рассудке. Надоумь меня, как мне от насмешек отбиться, ответить им, для чего это я на погост попёрся тёмной порой? Сама знаешь, не дают прохода за того волка. А ведь было дело! Было! И волк был и овца зарезанная, а у них память отшибло – не помнят, один я не забыл...

– Со святой водой надо было к Лидии идти. А людям передай: Матерь Божия молилась на погосте за всех, молилась и плакала.

– Не поверят.

– Поверят, поверят, – успокоила мужика старуха, тихонько его по спине ударила ладошкой и подтолкнула к выходу. – Уходи, не мешай.

Вернулся Николай с кладбища, курящих мужиков давно след простыл, лавочка опустела – холодно. Какие могут быть долгие беседы, когда лето миновало? Наутро он фуфайку надевает, а жена и спрашивает:

– Что это у тебя на спине?

– Смотри сама, у меня позади глаз нет. Вечно пристаёшь с глупостями. Лучше я бы ещё пяток минут поспал, чем сейчас время буду тратить на вопросы дурацкие.

Господи, – всплеснула руками первухинская баба, – никак лик святой?! Казанская! Так прямо на материи и отпечаталась!

– Ой, ли? – испугался Первухин, щупая спину, как раз то место, по которому старуха ударила ладошкой.

– Ради истинного Бога, муженёк, скажи правду, кто фуфайку расписал?

Скинул Первухин фуфайку – глазам своим не поверил, видит на спине образ: Матерь Божия с младенцем, краски до того свежи, кажется, что его только что написали.

– Не обманула! Знак дала!

– Это кто ж тебя не обманул? – вскипела жена. – Рассказывай, клоун проклятый.

Почему слова непонятные бубнишь?

– И эта «клоуном» дразнится! Что за жизнь! Может я из всех вас самый святой.

– Святой?! Ты?!

– Святой и есть! Тебе ведь Царица Небесная не являлась? А мне являлась.

От такой новости баба первухинская подойник из рук выпустила, уставилась на мужа разъярёнными глазами, руки в боки упёрла для вящей грозности и попёрла на него, кипя справедливым гневом:

– Кто это тебе явился? А? Где? Перекрестись!

– Сама крестись да молись, а я уже отмоленный.

– Во, паразит! Загадки на тощее сердце загадывает. Отвечай правду!

– Ежели ты в лик святой не веришь, так об чём с тобой толковать?

– Да в лик я верую, только ты объясни, как он оказался на фуфайкето? Кто тебе его нарисовал? Фуфайка-то – новёхонькая, как теперь её носить будешь?

Про то, кто это сделал, не знаю, врать не стану, не грозись напрасно, а если бы и знал тайну, всё равно не сказал бы правду. За такую правду можно и пострадать – не грешным ушам её слышать!

Горки взбаламутила новость про первухинскую фуфайку. Первухина жену наперебой стали приглашать в гости, словно заезжую Татьяну-монашку, которая по покойникам псалмы читала и могла растолковать все непонятные места в Евангелии.

Мужики тоже в курсе. На лавочке красалымовской обсуждают оказию с «клоуном», гогочут: вот так мужик, не соскучаешься с таким!

Бабка Пелагея оконце ветхое отворяла да тех насмешников ругала:

– Нехристи! Ни стыда, ни совести. Разве можно над святым видением тешиться?

– Ты, тётка, конечно, божественная, это все знают, извини нас...

Старая Красалымиха оконце затворит и сядет возле остывшего самовара с горькими мыслями. Времена настали неласковые, никто никого не слушает, все без страха Божьего живут, от таких ни криком, ни руганью, ни лаской, ни уговорами не отбиться, их ни жалостью, ни тоской не проймёшь. Полна ограда греховодников. А тут ещё, как на грех, москвич вернулся в деревню – не оставило его начальство на кордоне, показался

ненадёжным. Нет, видно, не отмолишь, не выплачешь – что положено судьбой, тому и случиться. Катится ком под гору – не остановишь...

Бабы у Насти-колдуньи в который раз «гоняют пластинку» про Кольку-кловуна и про образ Божией Матери на его фуфайке.

– Ну, стало быть, ты поутру к корове встала, – начинает Лукерья-скотница, умащиваясь поудобнее на стуле перед самоваром, – а он...

– Да не так было! – возражала ей Первухина. – Я ещё раньше поднялась. Ночью Рекса наш как забрешет, как забрешет.... Подумала сперва, что дачники за грушами лезут. Нынешний год сильно уродила дичка. Я – к окну. Вижу, заместо чужих – мой, и это на него Рекс бросается, удивительное дело, чтобы кобель на хозяина нападал. Нападает, у самого хвост поджатый, и пятится от Кольки. Боится что ли? Правда, пёс не любит пьяных, а Колька шатается и еле ноги передвигает, ну просто в дым пьянёхонек. Эх, думаю, мужики, мужики, что с вас взять, никакого переживания об деньгах, до аванса в доме ни копейки, а он.... Где же так нализался в такую позднюю пору и у кого? Кто это такой добрый тебе стаканчик поднёс? Войди, только войди, приблизься, только приблизься ко мне, я тебе покажу!

От окна отошла, а как он на порог, так я – в койку. Дожидаюсь, когда он ляжет, когда дыхнёт. Ан, подруги, вышло все не так: тверёзый пришёл и смирный. Лёг рядом со мной, руки на груди сложил крест-накрест, молитву стал шептать: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!»

– Правда что ли, – в который раз сомневаются слушательницы, – молился?

– Истинный крест, так все и происходило! Что поделаешь? Какая после этого может быть ругань с моей стороны?

– Чудеса! – вздохнула Настя. – Нынешние мужчины только матерным словом и владеют, а твой Николай молитву знает! Большинство о ней забыли или вовсе не знали.

– У тебя-то, Анастасья, ума палата, хоть колдовству обучена от родителей, а все же – крещеная душа, налей-ка чайку покрепче, не скупись.

– Язык твой, бабонька, ох ядовит, ох и духовит – в бане не отпарить, всю неделю будет после твоих слов вонять! – передёрнула плечами хозяйка, отворачивая латунный крантик самовара.

– Да не перебивайте, девчата! Рассказывай, Ксения.

– Утром я, и правда, корову побежала доить, потом её выгоняла в стадо, потом козу привязывала, курам дала. Сами знаете, делов – полон рот.

– Оно, конечно, так. Без девчонок да пареньков крестьянствовать трудно. И почему у вас детей нет? – поинтересовалась Лукерья, задавая больной для бездетных Первухиных вопрос.

– Ох, подружки, к чему сейчас про детей поминать? – нахмурилась хозяйка. – Не об этом речь, зловердые вы какие-то.

– Лукерью не знаешь? Ехидный нрав у неё. Не имеет интереса к спокойной беседе, всё поперечничает!

– Могу и выйти, – пообещала Лукерья, ещё плотнее усаживаясь на стуле, не выпуская из цепких пальцев полную кружку крепкого чая.

– Сиди уж. Рассказывай дальше, Ксения, не обращай внимания.

– Дальше.... Хотите верьте, хотите нет, а образ был! Я только подойник на лавку поставила, а он тут как раз стал фуфайку надевать. Я так и обмерла.... Подумала было на дачников, их ребятишки сильно озорные. Теперь мода такая в городе – везде рисуют: на

домах, заборах, на дверях, а на портки, сумки и рубашки переводные картинки сводят. Красивые бывают картинки: девушки с длинными волосами, корабли, море, пальмы... Да вы всё сами и так знаете. Вот я и подумала, что моему паразиту на его фуфайке навели образ, да ещё и рассердилась на дачников, мол, совсем озверели – святые лики рисовать на рабочей одежде вздумали. Подошла к нему ближе и спрашиваю: «Что у тебя на спине», а он ещё и огрызнулся: «Тебе надо, ты и смотри». Я ему фуфайку-то в глаза тычу: «Это что такое?» А он, как увидел, затрясся весь: «Не обманула!» «Кто не обманул, отвечай!» Сначала ничего не говорил, потом понёс незнамо что. Мол, я уже отмоленный, вы все надо мной насмехаетесь, а я святой.

– Святой?! – протянула Лукерья. – Это он – святой? Колька Первухин святой? Ой, держите меня, а то упаду! Да он всю жизнь браконьерничал! Но тут вся компания поднялась против несносной скандалистки.

– Гости дорогие, – извинилась перед подругами Настя, – не надо было её к нам приглашать, но ведь так просилась, так уговаривала и клялась, что слова лишнего не скажет. А ты, Лукерья Дмитриевна, язва сибирская, лучше бы не обещала. Покоя от тебя нет, все перечишь и перечишь, дослушать не даёшь, что касается происшествия с Николаем, так оно было. Мужики подтверждают, что он на погост ходил посмотреть, кто там ревет.

Я думаю, здесь хитростью надо брать. Сначала спроси: «На погост ходил?» Он, конечно, ответит: «Ходил». А как он может отпираться, когда свидетели были? «После куда пошёл?» Идти ему, голубчику некуда, как только домой, не в Мелково же он на моторке гонял в кафе? Всем известно, что нынче из деревни никто не отлучался. Значит, там, на погосте все и приключилось!

– Господи помилуй! – закрестились бабы.

– Знать бы, кто у нас мутит воду, – протянула Ксения, – кто моего дурака подставляет, ведь не первый раз. Помните волка?

– Помним, помним, волка помним и лебедь тоже, а теперь уж лик святой появился. Что скажешь, хозяйка?

Настя-колдунья – губы сердечком, вздох понимающий, взгляд загадочный:

– Поживём – увидим.

– Может, Пелагея догадается.

Старуха Пелагея делегацию приняла, сидя перед чугуном варёной картошки. Рядом с чугуном – кошка Муська лапой ловит тёплую картофелину, старуха улыбается и ласково предупреждает:

– Не сдюжишь, картофельно пузо, больно большую зацапала, не жадничай.

Муська глаза суживает от горячего пара, но картофелину не выпускает. Выпростала, наконец, лапку из глубины чугуна, но разваристая картофелинка горяча и тяжела оказалась – сорвалась, рассыпалась по полу.

Пелагея Яковлевна сплюнула в сердцах:

– Говорила тебе, не тащи боле себя! Тут как раз и вошли гости и, топча картошку, приблизились к столу.

Пелагея с достоинством, словно не последней картохой с кошкой делилась, а заморское кушанье вкушала с благородной дамой Мусей Красалымовой, кивнула всем, мол, проходите, православные, ведаю, зачем пришли, чего от меня желаете.



А те ей, как боярыне столбовой, в ножки поклонились: рассуди нас, Божия старушка, просвети наш разум. Тогда отвечает им она, Премудрая, Престарелая, Предвечная Свидетельница:

– С чем пожаловали – знаю и скажу, что была нам всем предвесть для того, чтобы жить по-Божьи. Прощение надо друг у друга попросить, не злословить, ссор не заводить, не обманывать, не жадничать, не завидовать, не воровать и не врать. Вспомните, как в Прощёное Воскресенье целовались в храме, не гнушаясь никого: ни нищего, ни убогого, ни больного. Надо и теперь такое сотворить всем миром. Я начну первая.

Поднялась с табуретки скрипучей Поля Красалымова, одетая в синее байковое платье, с платочком белым на голове, расставила широко руки для объятий, губами сморщенными ища ответные поцелуи.

Плач, слёзы радости, свет наполнил старый дом, обновились стены, побелел потолок, засияли серебряные и золотые оклады на образах, лампы загорелись сами собой.

Вернулись домой женщины, как заново родившиеся.

Мужья с работы возвращаются и стараются по сторонам не глядеть, языки стараются за зубами держать. Мало ли за рабочий день можно нагрешить. Сколько раз глазами, сколько руками отрекались они от семьи и детей! В родном коллективе соблазнов много. От жены верной утаиться трудно, нужна осторожность, если дашь себе слабину, а она учует – то не дай Бог!

Ныне же, мать честная, что с «половиной» приключилось? Не сверлит глазами, в карманах не шарит, не допрашивает с пристрастием. Как невеста необученная, которой ещё незнаком семейный язык: «непутёвый», «бестолковый», «неряха», «охломон несчастный», встречает ласково, жалеет: «Устал, миленький, кушать хочешь, дорогой?» Просто, как в сказке!

И что удивительно – так во всех домах, во всех семьях.

А ночью... кукование до рассвета. Сколько тайн открылось! И как ещё Волга не разлилась от слёз, пролитых той светлой ночью, как не взгорбилась земля от сердечного жара, как Горки не вознеслись к небесам от высоких чувств?

– Прости!

– И ты прости!

– Сволочь я и негодяй...

– А я злая...

– Ты права, на меня есть за что злиться.

– Проклинала тебя, на худые дела подбивала, денег просила побольше...

– Воровал, пил, дрался, обманывал, на чужих баб заглядывался...

– Ревновала, обновок просила, сплетничала, следила, жаловалась...

– Ань, а знаешь, как начальник безбородовский утоп?

– Говорят, из лодки выбросило. Дёрнул сильно мотор, тот как взрвёт, как дёрнет!

На ногах не удержался и – за борт... Ненадёжны эти дюральки. Он в сапогах был резиновых, тяжёлых, в них не выплывешь.

– Неправильные сведения, Анюта, это мы его с Мишкой. И сапоги на нём были самые обыкновенные, пришлось камень привязывать. И по сей день лежал бы на дне, если бы не случай.

– За что же вы его, ироды?

– За Дружка.

– Как можно за собаку? Дружок, конечно, пёс добрый был, но всё-таки не человек.

– Ох, не знаю, не знаю. Простишь ли? Убийца ведь я. Скверно с убийцей рядом лежать, а?.. Случилось это дело совсем просто. Он нас с Мишкой встретил, остановился и говорит: «Я вас предупреждаю, чтобы на моём участке – без вольностей. Я, как бывший офицер, буду служить в лесном хозяйстве, как в войсках – по уставу! Устав гласит: за незаконную охоту, то есть браконьерство – наказывать. Нет, не штрафовать вас буду, а, именно, наказывать. У каждого есть больное место, по нему и ударю. Уж не сомневайтесь, мало не покажется».

Мы с Мишкой стоим перед ним как дурашки, не знаем, что ему ответить на такие слова, а он Дружка по холке треплет и приговаривает: «Хорош гончак, породистый, где только таких отменных псов находят?»

Я возьми и поясни: «Гризодубовский. Герой Советского Союза Валентина Гризодубова подарила за успешную утиную охоту». А он: «Береги подарочек ценный, береги».

Мы намёк поняли, только не учли, что грозитя он не напрасно. Как-то завалили лося. Да ты помнить должна: мясо тогда прямо на шоссе и продали туристам. Тебе сапожки купили на те деньги – всем Горкам на удивление, Тольке самокат на толстых шинах... Хотя, правда, зачем он Тольке сдался – по траве далеко не укаатишь. Дурные гроши – дурные траты. А вермута тогда на «Казанку» нагрузили с верхом. Погуляли, покуролесили, а когда очнулись – нет Дружка, как в воду канул. Ты ещё на дачников грешила: увезли с собой в Москву, больно им всегда любовались и колбаской угощали.

Весной пошли проверять тока тетеревиные – вдруг да Гризодубова надумает приехать пострелять. Она женщина неплохая, стреляет отлично, жаль, что сын у неё алкоголик. Идём себе по дороге на Трясино, свернули на вырубку, а в малиннике сухом – наш Дружокдохлый лежит! Шерсть на нём местами уже вылезла. Мать честная, да как это!? Отличный гончак, породистый, охотник отменный, ныне падлой валяется в глухом лесу!? И так мне горько стало, так обидно! Мишке говорю: «Давай начальника проучим, покажем ему наш деревенский «устав». Ишь, какой деловой нашёлся! Наши отцы, и деды, и прадеды, все наши предки предков этих лосей спокон веков били, кормились ими, а тут – нельзя! Почему это нельзя?» О том, чтобы убить, и в мыслях не было, просто решили попугать или морду набить. А тут и он сам, ни весть откуда взялся. Мы ещё от мёртвого Дружка не отошли... «Извините, ребята, пришлось пристрелить, скрывать не стану, мне самому кобеля жалко, только ведь мы с вами договаривались».

Я зубами скрипнул при этих его словах так, что чуть всю челюсть себе не своротил! Как можно из-за принципа такое животное уничтожить?! Не пожалел, сволочь, патрона, загубил собаку, теперь вот гниёт наша краса и гордость под прелой листвой. Услыхал он, как я зубами скрипнул, глаза свои бесстыжие обузил, ружьё перекинул с левого плеча на правое: вроде как предупредил, мол, в случае чего, пальну!

У меня кулаки ажник зазудели, крутить их стало, как при ревматизме перед дождём. Я кулак об кулак бью, а сам думаю: «Что это я собственные руки кручу, а не лучше ли мне их по другому наклону пустить?»

И пустил. Драка началась... Ужасная драка, признаюсь, Анечка. Но об убийстве никто из нас не думал. Мужикам иногда очень хочется подраться не из-за чего, просто так. И тогда, во время драки, мы понимали, что собака не причём, ей, видно, было так на роду написано, а нам хотелось покуражиться, силой померяться. И от чего только мы тогда озверели? Не видим, не слышим, не чувствуем боли...

В драке – кому как посчастливится. Кто кем окажется, кто – преступником, а кто жертвой. Начальник жертвой оказался, а мог бы и я. Не от человека это зависит, не от его желания,

а какой жребий выпадет. Вместе дрались – вышли врозь. Как это случилось, что он упал? Место что ли нашлось слабое на его голове? Только я потому месту кулаком врезал, как он – брык на землю. До этого он тоже падал, но поднимался и опять лез в драку, а тут упал, вздохнул, выдохнул, приподнялся, выгнулся как-то назад дугой, опять приподнялся и отпрянул – лёг на землю плашмя. Лицо сразу сделалось тихим-претихим, словно кто-то его успокоил: сначала позвал, что-то сказал, потом что-то показал, потому он и глаза вытаращил, а затем легонько толкнул, он и повалился. Кончилась жизнь.

Мы с Мишкой стоим, и не жутко нам, и не стыдно, а странно: убили! Неужели умер? Вот так просто. Только что кулаками размахивал, матерился, а тут вот – тихий и спокойный, глаза закрыл, как будто спит. Не дышит. Как так можно? Ушёл человек из мира, покинул его навсегда... Ружьё рядом целёхонькое и одежда: брюки, сапоги, китель военный при нём, вещи не повредились, а человека нет.

Долго мы удивлялись и поверить не могли, но надо было что-то делать, не признаваться же нам, в самом деле, что начальника безбородовского уколошили из-за собаки. Решили утопить мертвеца тут же в заводи. Нашли его лодку на берегу, опрокинули – вроде он сам из лодки выпал. Такое бывает, не раз с нами самими приключалось поплавать без охоты. Одним словом, на реке выросли и знаем, как быть. Если бы не Клавдея, никто бы и не нашёл утопленника, сгнил бы он в глубине вод, как наш Дружок под малиновым кустом. Вынюхала, подлая, и на нас подозрение навела, но власти посчитали, что мотива нет и свидетельство с её стороны голословное, без улики. Закон без чужих глаз слеп.

Теперь, когда мужики при мне драку начинают, думаю, а чем вы меня, убившего человека, лучше? Ваше счастье, если вы не прибьёте кого, не изобьёте до смерти. Все люди – злодеи, только у каждого своя судьба, свой жребий. Я себя преступником не считал, хотя признавал, что оборвал невзначай чью-то ниточку жизни.

Кто решается человеку сделать больно, тот уже, можно считать, убийца жизни. И щелчок может привести к смерти, так же, как нож или топор.

Тот, кто ни разу не подымал руку на живое существо, только тот без греха! А есть ли такие в наше время? А живут ли такие на грешной нашей земле? Сомневаюсь. Оттого и молчал, оттого и не рассказывал про случайное убийство, и милицейские власти не очень интересовались тем делом.

Сегодня растревожила ты меня, Аня. Я пьяный пришёл, грязный и получку всю пропил, ругался и скандалил, а ты меня приветила, морду сопливую чистым платочком обтёрла, до койки дотащила (я ведь бугай здоровенный – как справилась?), раздела, разула, одеялкой укутала, меня, пропойцу обоссанного. Тебе, Ань, Василиса Премудрая что ли помогает? А? Улыбаешься... Отчего ты, жена, улыбаешься?

– Я знаю, как теперь жить надо.

– А про меня знаешь?

– Ты разве не человек? Сколько времени закон этот люди учат, а все никак не могут выучить. По-Божьи надо жить, муженёк, поБожьи...

– Значит, мне не жить! Окаянный я убийца! Душно-то как! Ох, рвать тянет, Ань, дай тазик. Ох, не могу тошно! Недостоин быть в своей избе, не достоин и на жену свою смотреть. Страшный я, Аня?.. А? Посмотри... Вот ведь какая рожа поганая в зеркале, неужели моя?

– Многие завтра сами себя не узнают...

.....

– До чего же мы с тобой, Павлик, счастливые. Почти все жены своих мужей осуждают: тот дурак, тот пьяница, тот гуляка. А ты – самый лучший!

– Выдумала! Самый хитрый я. Ни одного дня не прожил без хитрости и обмана. Такой же, как и все: пил, блудил, грешил не меньше других, только всё – с оглядкой, чтобы шито-крыто и концы воду. С тобой это нетрудно делать, ты – сама простота, всему веришь. Почему, думаешь, я на тебе женился? Да всё потому, что ты ничего не замечала, даже если бы я и попался на вранье, то ты меня всё равно бы оправдала, отбелила. А ты считала – «любовь»? Не любовь это, а удобство. Удобно мне с тобой жить: готовишь хорошо и чистюля. Как стал с тобой жить, только и узнал, что значит рубаха стирания на каждый день и носки заштопанные. Не в любви дело, а в лёгкости совместной жизни. За всё это прости меня, собаку. Краду у тебя законное, тебе одной, как законной жене предназначенное: сладкие поцелуи и прочее, бросаю их кому попало. Но, знай, не всегда мужик без совести, иной раз нарочно скандалит, чтобы своё скрыть наболевшее, вину свою перед женой спрятать за кулаком и матерком. У жены глаза плачут, а у мужа – душа. У меня сейчас она от горя разрывается – так стыдно! Уйду у от тебя...

– Ой, Пашенка, ой, родненький, не бросай, не уходи, а то утоплюся!

– Да ладно, не уйду, успокойся, голубь мой чистый!..

– Готовься, детка. Последний день живёшь как председателя дочка. Завтра я весь этот бардак своими собственными руками разрушу. Уж я-то знаю, как это сделать – сам созидал, сам и разрушу! Все новому начальству расскажу про свои тёмные делишки, чтобы были в курсе, чтобы не сажали себе на шею такую сволочь, как я. Сам пойду на скотный двор с граблями и вилами, коровьи лепёшки огребать. Коровьим командиром сделаюсь, единоначальником. Плохо ли, командовать бессловесными?

– Мать, кто здесь был? Кто в избе так прибрал? Верка моя, что ли, приезжала, пока я с егерем по протокам лазил, хорошие места для скрачков искал? Гляди, полы выскоблены, блестят как новые. Шишечки на кровати надраены. Какие это к тебе угодники приходили? Какие пионеры-тимуровцы? Только жаль, тебя саму не омолодили! Бухнулась Пелагея Яковлевна своему сынку непутёвому, пьяненькому в ноги:

– Ругай, издевайся, сынок, шибче ругай!

– Да ты чего?! – отпрянул в испуге Пётр Николаевич, – С ума сошла? Объясни толком, что за дела? Представление устраиваешь? Я ими сыт по горло!

– Ругай, сын, ругай...

– Ругать не буду, а если будешь продолжать свою комедию, то по шее получишь, не посмотрю, что ты старая.

– Бей, бей, окаянную мать свою, нет мне смерти, нет прощения...

– Вот наказание! – стряхнул Пётр с плеч своих слабые материнские руки. – Пойду медика позову, может, в больницу отдать тебя?. Всё-таки девяносто лет, надо понимать...

– Все простили, – заплакала Поля Красалымова, прислушиваясь к Петькиным удаляющимся шагам. – Все простили, только не сын родной...

*Ау, матушки, как жить будем?!*

Кто за ночь цветов в каждом палисаднике насажал, траву свежую на лугах освежил, пруды очистил, а берёзе красалымовской листья сердечком вырезал?

Лисы, кабаны дикие, зайцы, косули прочие звери лесов и полей из нор, из чащоб заповедных вышли открыто к человеческому жилью и пьют воду из Волги без всякого страха.

Кто-то первый заметил, как на песчаном мысочке незнакомый мальчик храм из голубых камней складывает, а как храм выстроился, то пошли к нему многие и многие. И многие видели Голубую Деву, у которой из-под опущенных вниз ладоней лились золотые лучи. Счастливы были те, на кого хоть одна солнечная пылинка упала.

Дитя церковь выстроило, поднялась она до самого неба – вот какие чудеса происходили на волжском берегу и в деревне Горки Едимновские, однако не в те времена, в которые мы живём и не в том мире, где временно обитаем, выстроен был приют для Гостьи Небесной. Без помощников, без башенных кранов, без техники безопасности.

Чем создается строение духовное? Не мышцей ли сердечной? Строение духовное – это не только форма, это преображение всей жизни, изменение отношений между всем сущим на земле.

Старуха Красалымова, надо думать, сподобилась получить золотую пылинку из ладоней Девы, иначе могла ли она вот так, запросто, сидя на своём ветхом крылечке, кормить с рук пугливую косулю и видеть множество ручных зверей: зайцев ухастьих, бекасят в пуху, утят и щенков волчьих.

Радуется Свидетельница вещая, улыбается идущим к берегу Волги – тем, кто сподобился видеть храм из голубых камней, спрашивает:

– Видели вы, люди добрые, образ райский?

– Видели, матушка.

– Знаете ли, для чего человеку два глаза даны? Чтоб одним рай зреть, другим – ад.

А теперь смотрите другое! – махнула иссохшей своей рукой в сторону огорода.

Посередине красалымовского участка стояла избушка. До чего же была она мерзкого вида. Дохлятина по стенам развешена, по ней зелёные мухи ползают. Кости разные: человеческие и звериные в поленницу уложены, черепа на плетне висят, словно глиняные горшки для просушки.

Из избушки той вышла бабка, старая-престарая, немытая, нечёсаная. Набрала старуха «полешков» костяных, понесла в избу, печь ими топить, вернулась, вытрясла из черепушек всякий сор, фартуком обтёрла его.

– Ой, лихо! Кто такая?

– Не узнали? – удивилась Пелагея Яковлевна. – Так ведь это Лида Горохова.

– Не может быть! Такая страшная? Лида же молодая!

– Старше меня на тысячу лет!

– Она в прошлом году только техникум окончила...

– Сколько времени единому греху, сосчитай-ка?

– Этого ни один человек не сочтёт, но причём здесь Лидка?

Тут из дверей мужичек некий выбежал, достал из-за пазухи горсточку старинных монет, оглянулся по сторонам, заметил собачью будку, подбежал к ней, наклонился и стал голыми руками ямку копать, вырыл её и высыпал туда деньги.

– А это что за человек? – спрашивают у Красалымовой.

– Хриstopродавец. Его тоже век древний. Мзду за Машеньку Поднебесину прячет.

Ещё многие выходили из той избушки, только не всех можно было рассмотреть, да и сердце замирало от одного вида богомерзких тварей. Бесы, словно Муськины котята, выпрыгнув из окна, стали строиться, как солдатики. Каждый из них выкрикивал свою роль, чем он прельщает христиан: кто едой, кто нарядами, кто выгодной службой, кто деньгами, кто славой, кто блудом...

Старуха Пелагея крошки с фартука стряхнула, пальцем избушке поганой погрозила, и вдруг вспыхнуло то строение, разгорелись углём багровым стены, и рухнули в разверстые адские недра.

Видели люди, как из пламени выкатился младенец утробный, выкидыш пятимесячный, задрыгал ножками, зевнул и помер...

Красалымовский петух только было скок на забор, как тут показался газик милицейский, зафыркал мотором, остановившись возле правления.

У офицера в руках папка, шинель со спины оттопыривается – там пистолет.

– Лейтенант Швыркин, – отрекомендовался офицер председателю и строго приказал:

– Посторонних попрошу на выход!

Затем сел за председательский стол по-хозяйски: развалился, откинулся на спинку стула, вытянул ноги под столом, положил перед собой красную папку, многозначительно постучал по ней крепким желтым ногтем и, приняв прокурорский вид, сверля глазами несчастное бывшее начальство, приступил к допросу.

– Ну, гражданин, признавайся, по какой причине столько дров успел наломать. Объясни ситуацию, да поясней, а это, можно сказать, первый случай в моей практике. Надо же, сам себя отстранил, сам себя уволил! Кто это тебе дал такое право? Да ещё каялся в своих недостатках перед рабочим коллективом. Это же настоящий цирк! А ну, как все начнут творить нечто подобное!? Я, понимаете ли, перед своими подчинёнными, мой начальник – передо мной; начальник городской милиции – перед районным; областной – перед городским и так далее, и тому подобное. До какого примера мы с вами можем докатиться!? А? Страшно подумать! Если такое правило распространить на всё, даже на правительственный аппарат...

Произнеся эти слова, Швыркин сам испугался, покраснел и на минуту замешкался, а потом решительно приказал:

– Хватит! Прекратить! Дело на вас заведено. Будем разбираться. Выгляньте за дверь, там должен быть наш сотрудник, сержант Скворцов. Что? Стоит на крыльце? И что делает? Папиросу курит? Какой марки? Не видно? Жаль. Наша служба все мелочи должна замечать и брать на карандаш. Наша служба... да не гыгыкайте вы там! Я вам покажу «собачья»!

– Я сказал «собачка», а не «собачья», – отозвался председатель, заглядывая в полуоткрытую дверь и продолжая «информировать» лейтенанта Швыркина о том, что происходило на крыльце правления:

– Кобель, извиняюсь, по кличке Рекс приближается к вашему сержанту, тот бросает папиросу и начинает чесать собаку за ухом. Странно, что мент, то есть сотрудник милиции, заинтересовался деревенской псиной... Разве у вас в органах не хватает этого добра, иными словами, собак служебных?

– Мне про собак слушать неинтересно, зови Скворцова.

– Разрешите доложить, – вытянулся в струнку сержант. – Первое: микроклимат типа цветущих палисадников, распутившихся серёжек тополей, молодой травы и весенних ручейков, действительно наличествует в данной местности, а, именно, в Горках Едимновских, где проходит теплоцентраль Тверь – Клин. Горячая вода, прорвав трубу, устремилась в почву, произведя нагревание грунта, в результате чего и наблюдается преждевременное потепление и раннее половодье.

Второе: высокого храма из голубых камней на левом берегу Волги в указанном районе обследования не обнаружено. Имеются, правда, на противоположном берегу развалины старой церкви, снесенной в 1933 году как памятник, не имеющий исторической ценности... То, что названо в сигнале, то есть в доносе, «храмом», оказалось просто детской игрушкой под названием: «пирамида», артель инвалидов «Спокойной ночи, малыши», город Загорск.

Третье: строение, поглощённое якобы геенной огненной, сгорело на самом деле, так как хозяева не соблюдали норм противопожарной безопасности. В названной избушке ранее проживал бывший политический заключённый, отбывший двадцатилетний срок наказания в лагерях политзаключённых и реабилитированный указом от 1957 года. Он, как показывают свидетели, занимался клейкой резиновых сапог. Возгорание произошло от горящего керогаза, случайно опрокинутого козой по прозвищу Майка, которая оказалась без присмотра нерадивыми хозяевами, и забрела в человеческое жилище, учинив там пожар.

Четвёртое: что касается животного мира в лице вышедших из лесных дебрей лис, зайцев, куниц, волков, лосей, диких кабанов, то надо основываться на мнении учёных. Возможно, это была сезонная миграция, такое явление часто случается в северной зоне среди песцов и полярных мышей – леммингов.

– Да, – протянул Швыркин, – потирая лоб, вспотевший от чрезмерных для него усилий усвоить за такой короткий срок столько информации. – Складно рассказываешь, вроде лектора, и откуда у тебя, сержант, столько времени берётся, чтобы читать научные книги? А что мне делать вот с такими, как ты, помощничками? Шибко культурного из себя строишь, а раскрываемость при этом у нас на нуле. Мне некогда с тобой методикой заниматься, так ты и рад этому, сукин ты сын! Зачем, позволь тебя спросить, ты преступной собаке за ухом чесал?

– Никого я не чесал, Иван Тимофеевич, – взмолился огорчённый сержант. – И вечно вы про меня что-то выдумываете, всякий раз такое, что только надо руками развести. Сколько бы ни старался, не могу угодить! В этот раз думал, что останетесь довольны: всё разузнал, всех опросил, всё по полочкам разложил для полной ясности, а вы... к паршивой собаке прицепились.

– Паршивой, говоришь? – взвился Швыркин, вставая из-за стола и выпрямляясь во весь свой высоченный рост. – А имя ты её знаешь!?

– Никак нет. У животных нет имени, у них только клички, они твари неразумные.

– А ты что ли разумный? Да ты просто пень берёзовый! Сколько раз надо внушать: при исполнении служебных обязанностей не иметь с непроверенными личностями никаких контактов! А ты контактировал! Да ещё с кем? С Рексом Первухина! Кто он такой знаешь? Не знаешь! А ещё разглагольствовал: мол, всё узнал, всех расспросил, всё установил?! Грош цена твоим сведениям! Лирические действия совершал: ласкал, гладил, за ухо трепал, а кого – не установил заранее. Кругом марш! И чтобы через десять минут были в кабинете все трое: ты, Первухин и его кобель. Я вам покажу кузькину мать!

Отправив сержанта выполнять приказ, Швыркин развязал тесёмки красной папки, заглянул в бумаги и прочёл следующее: «Первухин Николай Сергеевич. Год рождения 1937. Деревня Горки Едимновские, Завидовского района, Тверской области. Скотник».

Пока бедный Скворцов гонялся за Рексом, который после сержантских ласк расчувствовался, и в поисках продолжения таких же дружеских отношений увязался на трясинской дороге за приезжим дачником, Первухин смотрел телевизор, увлѣкшись судьбой французского писателя Бальзака. Николай очень писателю сочувствовал и переживал: «Вылитая моя баба, эта графиня, издевается над мужиком в болезненные моменты, а потом сама прощения просит». Увлѣкшись фильмом, он совсем забыл и про лейтенанта Швыркина, и про сержанта Скворцова, и про всю ту нелепую историю, в которую попал, и про время, которое провѣл у экрана, а времени прошло немало. Так что сержант имел полное человеческое право быть взбешѣнным, поэтому и не стал церемониться с Первухиным. Обнаружив его мирно отдыхающим, рывком поднял со стула и поволок к дверям. Бедный «клоун» не знал, что и подумать от таких решительных действий милиционера: почему с ним обращаются как с врагом народа в тридцать седьмом году?!

– Товарищ сержант, – вежливо, но довольно независимо обратился он к Скворцову, – за что вы меня арестуете?

– Я не арестовываю, а задерживаю вас и вашу собаку. Она, дрянь такая, никак не хотела, чтобы её на поводок взяли, упиралась, кусалась и скулила! Ну ничего, ответ дадите сполна перед нашим опером, он и не таких «птичек» ловил.

– Вы нас в контору ведѣте? И собаку? Зачем же её? Отпустите, какой от неё толк, она же безмолвная, – взмолился Первухин, пытаясь вырвать ремешок из пальцев юного сержанта.

– Не нарушайте, гражданин, – нахмурился Скворцов. – Здесь вам не цирк!

Такого в Горках давно не видывали, чтобы кого-то открыто вели под конвоем. И кого? Кольку Первухина, «кловуна»! Опять на что-то нарвался мужик! И Рекса тоже волокут?!.. Мир возмутился, мир решил: будем отбивать! Колька, он ведь не пьяница, не дебошир, а что сбрехнуть любит, так кому от этого вред?

Пока общество решало, что ему делать, конвоируемые вместе с конвойным достигли высокого правленческого крыльца, перешагнули порог правления и остановились перед дверью кабинета, в который вошёл лишь один Скворцов.

Из дверей кабинета вдруг раздался грозный рык. Рекс, уловив в нём сходство с рычанием вожака собачьей стаи, сначала наострил уши, прислушиваясь, а потом хвост поджал от страха: такого на столбике не перессышь!

– Погодь, – успокоил кобеля Первухин, – может все и обойдѣтся без больших неприятностей. Ведь не виноваты мы ни в чём.

Тут как раз все Горки и ввалились в приёмную, мужики были возбуждены до предела: уж, если Николая схватили, душу невинную, то некоторым есть за что срок потянуть: нынче без нарушения законодательства не проживѣшь. Поэтому вопрос, который задали Первухину был не пустой:

– За что взяли?

– А пѣс их знает, за что.

– Ты только не тушуйся, сейчас не те годы, чтоб за анекдот сажали.



– В обиду не дадим, ты так и знай!

– Моду взяли – овец смиренных хватать. Машу сначала, а теперь и Николая. Лучше бы ворюгу Милку приструнили – обсчитывает внаглую, либо егерей – лосятиной торгуют только так!

– Пока не предъявлено официально обвинение уважаемому Николаю Сергеевичу, – заявил самый начитанный и просвещённый в деревне человек – книголюб Костя Лобачёв, – считаю излишним заводить прения на эту тему.

– Излишне, говоришь? А по шее получить не желаешь? Излишне!

– Угрозы ваши глупые при себе оставьте, мы же в милиции, а не в кафе, где царит произвол.

– Гражданин Первухин, – позвали в отворённую дверь. Первухин крикнул, дёрнул Рекса за поводок.

– Сергеич, – предложил кто-то их мужиков, – собаку-то оставь, посторожим.

– Не могу, его тоже к ответственности привлекают.

– Дела! – удивился мир, – В тридцать седьмом, однако, собак не трогали.

Увидев перед собой обоих преступников, лейтенант Швыркин, скинул с плеч шинель, засунул правую руку за ремень гимнастёрки и поправил, висящий в кобуре свой табельный пистолет.

– Фамилия! – рявкнул он неестественным басом.

– Чего? – не понял обвиняемый.

– Ваша фамилия?

– Дак вы давеча, как я в коридоре сидел, её сами выкрикивали: «Первухин!»  
Первухин я и есть, всё правильно.

– Я не кричу, я просто вызываю, кого надо. Прошу не забывать, где вы находитесь.  
Первухин Николай Сергеевич, скотник? Так?

– Так. А его, если интересно, Рексой кличут.

– Не Рексой, – поправил лейтенант, – а Рексом. Он, если я не ошибаюсь, собака мужского пола.

– Ясное дело, мужского, потому как сучек, то есть собачек, очень даже уважает, особенно по весне. Он по этому баловству – первый кобель на деревне.

Никто и предполагать не мог, что разговор про уникальные способности преступной собаки Рекса могут вызвать у лейтенанта Швыркина такое море эмоций. Он, выдернув из-за пояса пистолет, выскочил из-за стола и подбежал к испуганным до обморока собаке и её хозяину:

– Я вам покажу, наглецы, как надо себя на допросе вести, не в бабки мы с вами здесь играем. Не позволю свое служебное время тратить на байки про каких-то сучек! Отвечайте по существу, не мешайте следствию!

– А я разве мешаю? Я помогаю. Вы сами про его мужской пол сказали.

– Меня его и ваш пол интересует исключительно для занесения в протокол. Заполняйте, Скворцов. В графе «пол» пишете «муж.»... Два раза «муж.». Так. Заполнил? Пошли дальше. А вы, Николай Сергеевич, решайте: или хулиганить будете, представления всякие представлять, или помогать следствию без всяких дуриков. Итак, расскажите, что вы делали на кладбище 23 октября сего года в 21 час 15 минут?

– Ничего. Просто пошёл с Рексом посмотреть, узнать, кто это в ночное время на могилке голосит.

– Ну и кто же? – подобрался Швыркин, как лягавая, сделавшая стойку на куропатку.

– Старая Красалымова, тётка Поля.

– И что дальше?

– Ничего. Сказала только, что плачет по всем: по крещёным и некрещёным, кто Бога забыл, кто Его вовсе не знает, и верой не интересуется...

– Возьмёшь всех на заметку, Скворцов, а вы, Первухин, продолжайте.

– Продолжать я не знаю как... Всё. Пошёл домой. Её дело старушечье – молиться. Она, говорят, в церковном хоре пела, её уже поздно переиначивать, какая в этом польза обществу? Пусть себе живёт, разве это преступление жить долго? Ей девяносто годков уже, самая древняя старушка у нас, эта Пелагея Яковлевна.

– Ты опять взялся за старое – уводить следствие в сторону? Я тебе про Петра, ты мне – про Ерёму.

– Про Петра?! Вы мне про Петра ничего не говорили, я его на кладбище и не встретил тогда, одну только его мать, тётку Полю.

– Какой кошмар! – схватился за голову следователь. – Да я с ума сойду с этим народом! Прямо спрашиваю: что за лик ты на своей фуфайке обнаружил?

– Да вам не понять. Даже, если бы вы на него и в лупу посмотрели, всё равно ничего не увидели бы.

– Как так? – озадачился Швыркин. – Это почему же?

– Да потому, – перекрестил лоб Первухин. – Потому, что только чистые сердцем Бога узрят.

– Глупый ты человек. Нынче кругом наука...

– Так и наука Бога не отрицает.

– Смотрю, много на себя берёшь! Думаешь всё, с коммунизмом покончено? Ан нет, мы ещё посмотрим! А пока вот таким, как ты, спуску не дадим – раздавим, как вошь!

– Эх, товарищ милиционер, товарищ...

– Я вам, гражданин, не товарищ, а лейтенант Швыркин. Прошу обращаться по форме. Мы с вами не хвосты коровам на ферме крутим, а разбираем тяжкий момент в биографии вашего хозяйства. Ведь все безобразия, которые происходят в нём, это ваша вина. На целые сутки было остановлено производство, мало того, руководящие товарищи добровольно покинули государственные посты, признались, что получали взятки, обманывали государство и расхищали народное добро. Каялись в «грехах» и ваши руководители, и простые трудяги. Так что отвечать придётся

– Не знаю ничего, – взмолился Первухин. – Какие грехи, какое начальство? Свой грех признаю, ходил на погост ночью, а откуда лик приключился за спиной – не ведаю.

– Скворцов, – востропнулся Швыркин, почуввав в ответе обвиняемого нужный момент, к которому можно было прицепиться, – записывай, каждое его слово записывай.

– Ты записывай, – обратился подследственный к сержанту, – я не возражаю, только собаку отпусти, чтобы она тут не нагадила. Сколько времени сидит в жильё! На двор ей надо, она-то не причём.

– Рекс твой, выходит, не причём, а ты, выходит, причём? Так при чём ты, или при ком ты, Первухин? Понимаю, обидно, что проговорился?! Учись, Скворцов, как выводить на чистую воду шельмецов. Какова моя методика? Не слабо? А теперь, подозреваемый, давай чистосердечное признание. Что за спиной стояло? Или до сих пор стоит?

«Эх, – сокрушился про себя Первухин, – попался ты, Колька, запутает тебя эта зуда. Нешто попробовать по-армейски...»

Что случилось через минуту, повергло в шок и Швыркина, и Скворцова, и Рекса, и даже самого Первухина, который вдруг вытянулся по стойке смирно, задрал подбородок, выкатил глаза, выгнул грудь колесом и гаркнул во всю глотку:

– Разрешите доложить, товарищ лейтенант милиции, за моей спиной всегда стояло и стоит переходящее знамя нашего хозяйства! Хотите сами проверьте! Вот оно!

Реакция Швыркина была ошеломляющей: он вытащил из кобуры пистолет и громко грохнул им о стол, его маленькие голубые глазки впились в несчастного «кловуна», который при виде боевого оружия в непосредственной от себя близости, мысленно простился с жизнью.

Теперь Швыркин получил неоспоримый перевес в дознании, теперь он мог на законных основаниях приписать Первухину издевательство над государственной святыней, а то уже статья и статья серьёзная. Мысль, самая что ни на есть гениальная, вдруг озарила вялые мозги Швыркина: так, оказывается, этот скотник не просто религиозный проповедник, каким мог показаться сначала, он ещё и «контра», а если покопать глубже, может и шпионом оказаться! Придя к такому заключению, Швыркин круто изменил тему допроса.

– Нам известно, – сказал он, внутренне восхищаясь сам собой: ай, да Иван Тимофеевич, такое удумал! Этак можно и звёздочку лишнюю на погоны схлопотать! – Что, будучи отличным стрелком-охотником, вас приглашали на охотучасток «Заволжье» в качестве егеря, когда Пётр Красалымов находился в очередном запое, «белой горячке» попростому, а в медицине она называется синдромом Корсакова, и не мог сопровождать гостей к шалашам-укрытиям иностранных дипломатов! Не отрицаете этого факта?

– Как можно? Было дело. Сопровождал. Все подтвердят. У нас чуть ли не вся деревня побывала в Заволжье. У Петьки запой два раза в месяц, как часы! Там как раз и случай приключился с новым егерем. Он к нам из Москвы приехал. Конечно, что там говорить, ни ухом, ни рылом про леса наши он не ведал и стрелял паршиво, но... знакомства! Только по знакомству его и устроили на такую должность. А с дипломатами прибыла такая неказистая собой бабёнка, щупленькая и чернявая. Сашкаегерь первый начал стрельбу, и все мажет и мажет. Второй назначили щупленькую. Кажись, куда ей! Особа женского пола, а дуплетом так и сымает, так и сымает, ни одного промаха не сделала. А после на собрании Аверьянов – наше начальство – говорит егерям: мол, не стыдно вам перед женщиной итальянкой Мери? Она класс стрельбы показала, нос вам утёрла! Придётся зачислить в штат.

Егерям шутка пришлась по душе, только было одно возражение – бабёнка больно костлява!

Швыркин внимательно выслушал рассказ и даже в самых комических местах не улыбнулся, сосредоточенно о чём-то думая, потом позвал Скворцова:

– Сержант, собирайте протоколы. Это такой гусь оказался, нам с таким не сладить. Чую, дело органов касается... А? Видал миндал, как следы путает: то про кобеля своего заливаает, то про старушкуцерковницу, то про Мери какие-то небылицы плетёт, а о главном – молчок. То-то и оно-то!..

Но от продолжения гениальной догадки о виновности Первухина Швыркину пришлось на время отказаться, потому как за дверью вдруг послышался странный гул, который до того встревожил стража порядка, что он вскочил со стула и подбежал к двери, распахнув её настежь:

– Что за народ? – спросил он строго, увидев перед собой возмущённую толпу.

– Обыкновенный народ! Ты-ы, мусор выметной, тебя-то кто сюды приглашал самого? А мы Кольку не отдадим, хватит с вас, ментов, одной Машки.

– Кого защищать собрались? Врага народа, шпиона!

– Кто это шпион? Да у него батя – Герой Советского Союза!

– Ты, сопляк, ещё под стол пешком ходил, как он кровь за нас проливал, каким после этого может быть врагом народа сын его родный!?

– Кабы мы не воевали, они бы сейчас наганы свои не шупали, – выкрикнул кто-то из толпы, когда Швыркин опять полез за пистолетом.

– Не тронь пушку-то, не тронь! С родным народом говоришь!..

Неизвестно, как дальше развивалось бы действие, если бы его внезапно не прервал чей-то нетерпеливый голос:

– Погодите, погодите, дайте пройти! А то может страшное недоразумение произойти!

– Мужики, «учёного» зажали, пищит, как крысёнок. Пропустим.

– Ух, – выдохнул Костя Лобачёв, освобождаясь от чужих плеч, рук, ног и обретая, наконец, устойчивость. – Спасибо, братцы, и за себя благодарю и за Кольку. Первухина запросто засадить могли. Сейчас объясню в чём суть, а суть в том, что мы мало читаем, в том числе и художественную литературу. Вот где полезные советы на все случаи жизни, это вам не рекомендации по части жареных котлеток из книги «О вкусной и здоровой пище». Возьмём хотя бы деревенскую тематику – кто ею интересуется? За редким случаем – одни интеллигенты. Очень жаль, что даже милиция не читает полезных книжек. Если бы товарищи милиционеры заглядывали в произведения «деревенщиков», то данная ситуация была бы решена «малой кровью».

– Какою ещё кровью! – толпа заволновалась, глядя на следователей. – Их что ли? Ты с ума то не сходи. То власти защищаешь, то...

– Это вы про «малую кровь»? – догадался Костя. – Это просто крылатые слова, образное выражение, а не то, о чём вы подумали. И не власти я защищаю, а справедливость. Дело в том, что рассказчикновеллист Василий Шукшин, по деревенскому народному житью большой специалист, написал рассказ о некой старушке, которая на погосте плакала и молилась. На вопрос солдата караульного о ком она так горько плачет, старушка отвечала, что молится за весь мир!

А когда солдат, собираясь покинуть погост, удовлетворив своё любопытство, повернулся к ней спиной, легонько ударила его ладошкой. Наутро парень обнаружил на своём обмундировании изображение Божией Матери. Между прочим рассказ этот был напечатан – цензура не нашла в нем ничего вредного. В случае с Первухиным Николаем наблюдается тот же сюжет. Николай слывет у нас как большой любитель устного творчества и фантаст. Ему принадлежит множество ходячих анекдотов и притч, зачастую героями этих произведений является он сам или кто-то из односельчан. И вот, представьте себе, бродит наш герой со своим неизменным другом Рексом, как дон Кихот с верным Санчо, по округе, случаем оказывается на берегу Волги, где отдыхают дачники, валяясь на песочке с книжкой в руках (они-то читать любят!), присаживается рядом, заводит разговор по причине своей крайней словоохотливости, а сам в книжку заглядывает. Надо сказать у Николая память зрительная исключительная, он, на что ни посмотрит, то у него в уме отпечатается, как на ксероксе. Возможно, хотя, я просто уверен, что дело

происходило именно так: Колька поинтересовался у дачника, какую книжку он так внимательно читает, тот объяснил и рассказал сюжет, а остальное довершила Колькина буйная фантазия. Он пустил рассказ по нашей Горкинской тематике, себя и собаку Рекса ввёл как главных персонажей, Полю Красалымову сделал старушкой-богомолкой. Вы, граждане хорошие, следователи проникательные не туда смотрели, и, выходит, допустили профанацию милицейской бдительности. Кто вам после этого верить станет?

Теперь рассмотрим вопрос с итальянкой Мери, которой вы хотите приписать роль резидента итальянской разведки. Смотрите, осторожней на поворотах! Внешняя политика – она прерогатива высшей государственной власти, её нельзя колебать недалёким людям. Хотите скандала на государственном уровне? Кольку, возможно, вы и засадите, а Мери? Если на неё тень упадёт, многим не поздоровится. В связи с изменившимися, благодаря моим соображениям, обстоятельствами, предлагаю: Николаю Сергеевичу Первухину объявить общественное порицание за его безответственное воображение. Кстати, я не против, чтобы наказать кобеля Рекса за фривольное поведение с представительницами противоположного пола, не забывайте о том, что у нас на улицах дети играют.

Оратор окончил взволнованную речь при полном молчании зрителей. Мир вздохнул свободно, всем стало ясно: отмазали Первухина, напугали следователей и «учёного» реабилитировали.

– Константин, ты – голова! Недаром твоя фамилия Лобачёв, значит, лобастый, значит, умный.

Милиции нужно было придумать приличный выход из положения, не теряя авторитета. Пока милиционеры телепатировали друг другу, а мужики, молча выжидали, прошло несколько минут

Первым шевельнулся Рекс, он стал нетерпеливо переступать передними лапами и тихонько поскуливать.

– Цыц! – прикрикнул на него хозяин. – Человек нас от тюрьмы спас... Тут всех и прорвало:

– Вот так Николаич! Уважил!

– Что ни говори, а культурный человек!

– А мы, дураки, ещё над ним и подшучивали, прозвища давали, то «учёный», то «крысёнок»!

– Спаситель, право слово, спаситель ты наш, не одного Кольку спас, а всю деревню. Что было бы с нами, если бы милиционеров обидели при исполнении?

– Да, получили бы срока. Слава Богу, дело кончилось миром.

Ручьём говорливым потекли люди на улку. В правлении остались только «власти», Первухин с Рексом и Костя Лобачёв.

– Гражданин, – обратился к Лобачёву Швыркин, – задержитесь на минутку. Не бойтесь. А Первухин с собакой – марш домой и чтоб ни гу-гу! Без вас дел по горло!

– Не беспокойтесь, я его на цепь посажу, он у меня, подлец, побегаёт вокруг будки.

– И язык свой подвяжите.

– Язык... А язык, как Бог даст, – заупрямился Первухин.

– Я что сказал вам? Марш домой, не отвлекайте меня своими пустыми разговорами! И, обращаясь Константину, неожиданно спросил у него:

– Вы кем числитесь в конторе? Делопроизводителем? Очень хорошо, нам подходит, поработаете теперь на нас, на милицию.

– Что вы! У меня комплекция неподходящая и виду никакого, рост метр пятьдесят шесть.

– Фу ты! Да я вас не в дружинники зачисляю, а в лекторы.

– В лекторы!?

– Точно так, в лекторы по вопросам текущей литературы. Очень хорошо у вас язык подвешен. Два раза в неделю. Материально тоже заинтересуем. Такое дело, надо товарищей культурно развивать, а то любой фраер, извиняюсь, в глаза тычет своей образованностью. А английским владеете? Нет? Жаль. Сейчас молодые нарушители на иностранном языке огрызаются. Ну, так как? Согласны? Конечно, силком тащить не станем, не имеем такого права. Если не согласны, мы не в обиде. Рады были познакомиться и узнать, какие образованные личности проживают в данной местности. Учти, Скворцов, если котелок не к тому месту прицеплен, то умные мысли он никогда не сварит!

... Отбыл в город милицейский газик, умолк вдали его мотор, но ещё долго не умолкали в Горках споры о том, кто милицию укротил: то ли Лобачёв, то ли Первухин своими дурацкими разговорами, от которых даже менты могут угореть. Может, и правда святая вода помогла? Коекто видел, как Ксения Первухина углы в конторе ею кропила.

Два человека не согласились с версией делопроизводителя: Первухин и Поля Красалымова, ибо они только и знали истинную правду, но доказывать её не стали, рассудив, что Бог её знает, а это главное.

Петух красалымовский горло чуть не разорвал – так кукарекал на тишину. Тишина такая стояла, словно вымерла деревня.

...Ветер гулял по улицам пустынным, шевелил золу на пепелище – сгорел «скворечник» под чистую, только и осталось после пожара, так это: клоч волчьей шерсти, два чёрных колечка, егерская латунная эмблема, да белое лебединое перо.

Не сразу заметили, куда девалась вся компания: Пётр Красалымов «со товарищи». Однако недалеко они ушли – схоронились в старой риге, где Ленку волк-оборотень загрыз.

Ночью заблестали звёзды сквозь дырявую крышу, жутью, как влагой, пропитались ветхие доски, зябко и неуютно стало, захотелось как-то душу облегчить:

– Я здесь Ленку тово...– запинаясь начал Сашка.– Сначала и не вспоминал её, малолетку, а потом... Впрочем, все это чушь собачья, не верю я никакой мистике, а тем более метафорам, они от недостатка логического мышления. Не можешь чётко выразить свою мысли, вот и накручиваешь, как говорят в народе, «тень на плетень». Не сумеешь добиться своего в жизни, начнёшь верить в промысел божий, в страшный суд, в загробный мир. Я твёрдо не верю во всю эту шелупень, не верю, а вот, поди ж, ты – является она мне! Не во сне, не в бреду вижу так же явственно, как и тогда. Никто её не замечает, только я один. Присядет рядом, вздохнёт, головой покивает и скажет беззвучно, одними губами: «Жалко тебя, читала в книге небесной, что времени осталось мало. Поторопись, милый, поторопись». Я ей по её же системе, то есть одними губами шевелю: «Не мели глупости. Ничего, нигде вне земли не существует и тебя не существует, раз ты умерла! Я-то это хорошо знаю – умерла! Нет тебя! Кыш!» Уходит. Она и при жизни послушной была.

– Да... Удивительно. Через какие каменья перешагивали Александр Васильевич, а предкнулись о песчинку – девчонку безвестную, разве её можно сравнить с вашим древним батюшкой, которого вы удавили мартовской ночью? И ведь он вам никак не

является, правда? Мне тоже покоя нет от Маньки. Как её посадили по моему навету, так места себе не нахожу, и что характерно другие грехи не помню. Пью, гуляю, песни играю, а сам – что мертвяк. Чую, словно со всех сторон собаки меня рвут, отхватывают от совести кусок за куском.

– Кончайте! – потребовала Лидка. – Никому это не интересно, после пожара что ли такие пришибленные?

– Ты тоже только для вида храбришься, а у самой кошки на сердце скребут, поди, жаль младенчика?

– Не-а! – усмехнулась лесоводиха-греховодиха. – Не пришлось мне ни Лидухой – красной косынкой, ни жонкой с рогожкой, ни «мадамой» рублёвой с Тверской, ни курсисткой, ни бомбисткой, ни комиссаршей перед кем-нибудь в своих грехах каяться. Бабий грех с евиных времён – один. Плевать я хотела на него. А что выкинула чадо из утробы своей, так это... Испокон веков знают бабы секрет, как убивать своих детей, для этого дела и чертей не надо приглашать.

– Не нравится мне, – обратился Сашка-егерь к Петру Николаевичу, – как себя наша коза ведёт: глазом все косит вон в тот дальний угол. Б-р-р-р! Какой-то озноб нехороший, предчувствия скверные.

– Смотри, Александр, в религию со страха не ударься.

– Не бойся, не ударюсь, однако говорят, что кошки и козы видят параллельные миры. Посвети, Петя, спичкой.

– Это можно! Да только там, скорей всего, гнездо хорьковое, любят хорьки старые сараи.

– Нет ничего, – успокоился Сашка. – Давайте на боковую.

– Ползите сюда, – позвала лесоводиха. – Здесь сено посвежей. Улеглись. Полночь наступила, а они и спят, и не спят – все что-то чувствуют. Лесоводихе кажется, будто обнимает её за шею детская ручонка, дышит кто-то в ухо так нежно-нежно.

– Кто это? – подумала, не раскрывая глаз. – Откуда здесь ребёнок?

– А-а-а... – догадалась. – Должно быть, это он, которого я...

Хотела перекреститься, а рука не поднимается, тяжёлой стала, пудовой, только одни пальцы шевелятся, но до лба не могут дотянуться. Страх объял.

А Сашка видит: дверь в риге отворяется без скрипа, как бы сама собой. Сейчас должен кто-то войти, а кто – неведомо. Смерть? Страшнее смерти? Хочет на ноги подняться – ноги отнялись. Пополз, чтобы дверь притворить, но только успел носком коснуться, как упал навзничь. Кровь остановилась, сердце замерло, холодной влагой оросилось тело.

У Петьки в ногах сидит кто-то серенький, чуть больше кошки. Сено под ним немного промялось, когда он поднялся на ноги, чтоб протянуть верёвку над Петькиной головой.

– Бельё, шельмец, надумал сушить! – пронеслось у Петьки в уме. – А может, повесить меня хочет? Сначала душу встряхнёт, как мокрые портки, а потом прищепками её, прищепками, чтоб никуда не девалась. Не дамся!

Только приподнялся, чтоб верёвку ту сорвать, глядь, нет никакой верёвки, рука по пустому месту прошлась. Оглянулся посмотреть, где находится – да в той же самой риге! На сене Санька замертво лежит у самых дверей, Лидуха хрипит, ровно кто её душит, а козы и след простыл. Видно недаром она в тот угол паялилась – ускакала, наверное, в параллельный мир. Не жалко, никчёмная скотинка была...

Видит Красалымов, дела неважные: один он остался трудоспособный. Сашка и Лидка – подельщики лихие во все века, сошли с дистанции, немые да глухие после ночи.

– Какие могут быть теперь отношения между нами? – спросил Пётр, оглядывая бездыханные тела, и ответил, – да никакие.

Александр скосоротился, а Лидия поседела, как лунь... Теперь их уже никто не признает. Однако не бойсь, на матушке-Руси убогие да сирые всегда в признании, особенно погорельцы.

## XII

*Прости ты нас, прекрасный рай,  
Прости ты нас, Мати Богородица,  
Прости нас, Крест пресвятой Христов,  
Простите нас вы, все ангелы,  
Простите нас, святые Божии...*

Старую Пелагею после пожара не узнать – при Петьке хоть маленькие, да силы были, чтобы его, пьяницу срамить да поучать, ныне утихла, умалилась донельзя.

Пётр, конечно, сын никудышный, но как-то помогал по хозяйству: печь истопит, картошки в мундирах наварит, воды принесёт, самовар поставит. А ныне?! Ныне – просто беда.

– Сходить тебе, Поля, за продуктами в магазин? – предложит кто-то из соседей.

– Не надоть, – ответит старуха слабым голосом. – Умру скоро, освобожусь от чина своего. Пожмут плечами люди в недоумении: о каком чине она говорит? Слаба на голову стала наша премудрая.

Весной пошли слухи о погорельцах: два старика и старушка ходят милостыню собирают и непростую милостыню: просят, чтоб не дали, а взяли. Чудно! Что у них брать? Одни лохмотья, да сухие куски в сумах.

Подозрение было у горкинцев, что Красалымиха про тех загадочных нищих что-то знает. Теперь она одна-одинёшенька сидит на крыльце да персты загибает, приговаривая странные слова: «Ещё один сняли, ещё один взяли, и ещё, и ещё... Господи, пошли благодать!»

И опять тот мальчик на берегу появился, видели, как бежал по берегу, а след обратный был: пятками вперёд.

Марию, конечно, никто из земляков не видел. Она ехала в теплушке по этапу. Товарки её всю дорогу любовь ругают. Одна сероглазая, красивая, косы до колен:

– Не поверите, а честное слово: мой муж редактором на телевидении работал. Квартира кооперативная, машина, телек цветной. Шмотки исключительно импортные, отечественное покупать не разрешал. Вращались в высшем обществе, ходили на просмотры. Тусовались в Доме композиторов, в Доме литераторов, в Доме кино и так далее. Все его друзья и знакомые – знаменитости; тот из Большого театра, тот из «Современника». На природу возил и в кабаки. Весело жили, но всё, девочки, прахом пошло. Я из простой семьи, к тому же у меня отец – цыган. Так что куда ни вози, во что не



наряжай, а кровь цыганскую ничем не перешибёшь. Полюбила я одного, правда, не цыгана, но тоже «очи чёрные, очи страстные». Играл на гитаре и пел, как настоящий таборник. За это и полюбила, а так в нём ничего особенного не было – просто мосол с помойки. Ушла я с ним в развалюху, там ни кровати приличной, ни стола путного – ничего не было, одни стулья почему-то старинные, резные. Прожились и пропились мы с ним скоро. И надоела я ему. Сначала остерегался гулять в открытую, потом обнаглел, привёл девку домой, да ещё и с другом, а мне сказал: «Не возникай!»

Я всю ночь просидела на стульчике в коридоре, а утром вошла в комнату с топором – у соседки взяла – и отрубила ему голову. В милицию сама на себя заявила. Вот такая злая любовь у меня оказалась.

– А я своего подушкой удушила. Сильно надо мной издевался, пьяный сигареты о грудь гасил...

– Девушка, девушка, а ты, что нам скажешь?

– Бедные вы бедные, – откликнулась Маша, опуская голову с высоких нар. – Святая любовь – к жизни, а такая, как ваша – к смерти.

– Ты что? Все помрём: и любимые, и нелюбимые.

– Не все. Кто записан в книгу живую, тот будет жить вечно и вечно любить.

– Смотрите, верующая! Баптистка?

– Нет, православная.

– А разве сейчас православных притесняют?

– Ну, раз осудили, значит, притесняют.

– Ты не переживаешь, что в лагерь попадёшь?

– Нет, в лагере тоже люди.

– Люди!? Там звери, а не люди!

– Если пострадаю, значит, на то воля Божия. Чем больше пострадаю, тем ближе к Богу буду, и, Бог даст, отмолю своего Петеньку.

– И она туда же! – удивилась цыганка. – За любовь страдает! Твой тебя любил? Обижал? Изменял?

– Нет, он просто меня забыл.

– А ты до сих пор любишь?

– Люблю и вечно буду любить.

Наутро обнаружили заключённые, что девушка та необыкновенная исчезла из вагона. Как это случилось, никто не понял. Не заметили конвоиры, не заметили и этапницы – исчезла, испарилась из душного грязного вагона Мария Поднебесина, Мария Голубая, Мария Вечная, Мария – Нетленная Любовь. Выпорхнула от одного лишь любящего, жалостливого взгляда какой-то сердобольной женщины, торгующей на перроне тёплыми пирожками с картошкой. Заметила добрая душа, когда состав остановился на путях, замученных, исхудалых сестёр своих, выглядывающих из окошечек теплушки, пожалела от души, пожелав им свободы.

А может ветер унёс с собой Марию, такую лёгкую, как пушинка. А может птица-голубь, птичка райская, которая на свою потребу не может никого загубить – ни червяка, ни мошки – взяла её на свои крылья и унесла подальше от злых людей.

И про это откуда-то узнала Пелагея Яковлевна. Первухин видел, как на самом рассвете крестилась, глядя на восток, клала земные поклоны и просила: «Мария, дочушка, моли

Бога о нас грешных!» и догадался, о каких грешных она просила – о Петьке своём, конечно, о нищем погорельце и всех остальных, кто остался с ним.

Народная молва стала связывать их появление с чудесами, которые происходили при них и после. И кто бы мог подумать, что такое творят немощные, больные старики: один бубнит, другой гугнит, а третья головой трясёт.

Как встретит старик с вечно красными от слёз глазами нарядную красавицу, начинает горько плакать, бить себя в грудь и низко ей кланяться. Спросят его, отчего, мол, так убиваешься? Ответит: «Плачу о погибели твари Божией разумной и о том, что не имею такого радения о своей душе во спасение, как она о теле своём на пагубу». Если же услышит, как кто горько поминает на могиле своих дорогих покойников, опять запричитает: «Так бы и мне страдать о грехах своих!»

Ничего такого выдающегося и не совершали те старые люди: посидят, побубнят, поплачут. Только после ухода от их следов остаются луговины зелёные, хоть по какой земле они прошли – по песку ли, по жнивью, а хоть и по огороду. Поудивляются люди, посудачат, да и забудут.

Но не все забудут.

Один человек как-то стоял перед окном своим, смотрел на дерево, посаженное им лет двадцать назад в палисаднике, как вдруг увидел его. До чего же прекрасным, удивительным и волшебным показалось ему дерево-то! Ствол, ветви и веточки – на них видны почки. Почки раскрылись, показались листочки... Много листьев зелёных – убор, краше нет ничего на свете! И из чего это великолепие?! А просто из воздуха. Растёт дерево, не ведая ни языка, ни слов, ни знания. Быть бы человеку так. Не расхищать силу свою заботами, суетой, а собрать всего себя на строительство самого себя. И свет, и тьма, и камень, и почва, и соки земные, и звери, и растения – всё годится для созидания умной души.

От чего томится душа? От скуки, когда нет важных дел. Умирает она от безделия, скучает в шумной компании людей, собравшихся только для того, чтобы хоть чем себя потешить. Тогда – беги человек, бросайся со всех ног под звёзды вечерние, чтобы почувствовать настоящую, чистую радость, которую дарит природа, и то же самое дерево: в нём все подлинное, в нём труд и его результаты – свежесть листвы, благоухание цветов. Если так поступишь, то словно заново родишься.

Свет во тьме не скрыть: все, у кого случились перемены, получили известность. Вот хотя бы взять Ермолая Александровича. Кем он был все знали – несерьёзным человеком, легкомысленным, у которого на уме пьянки да гулянки, а душа общества, рассказчик – заслушаешься! Про Север так трепался, что многие ребяташки стали мечтать, как бы побывать в тех далёких краях: нефть добывать, плавать в северных морях на рыболовецких судах. И вот такой кадр вдруг пропал, оторвался от родного коллектива. С тех пор, как те нищие из деревни ушли, никто его пьяным не видел. Стали у жены спрашивать:

– Ты, случаем, к бабке не ходила? Зельем не поила, чтоб от водки отстал? Та только рукой махнула:

– Лучше бы пил, как раньше, а то непривычно как-то его трезвую рожу видеть. Надоел хуже горькой редьки – всё дома и дома. Облюбовал светёлку под крышей, повыбрасывал всё барахло и теперь вот сидит там один. Как после работы вернётся, так сразу туда шмыг, словно кот какой. «Может ты, Ермолай, – спрашиваю, – раком заболел и

скрываешь?» «Погодь, – говорит, – дай срок, как здоровья наберусь, вернусь к семейству таким, что будешь каждый день на меня радоваться». Я, мужики, думаю, испортили его те чудики. Он с ними как-то для интереса посидел вечерок на лавочке, ихнюю гугню послушал – и все! Утром и говорит: «Каких только людей на свете не бывает!» Я ещё тогда подумала, что Ермолай мой от них интерес свой поимел. Вот, как уйдут, он начнёт их представлять. Артист! Сами знаете, как может передразнить – животики надорвёшь, а на этот раз не стал, только сделался вот таким... Сердце моё женское не может больше терпеть! Поеду в Клин к доктору, который ненормальных лечит, к гипнотизёру...

Обратиться к гипнотизёру жене Ермолая никто одобрения не дал:

– Что гипнотизёр, что колдун – одна шайка!

– Нет, – отвечала она, – не гоже так. Мой муж, значит, я и должна его спасать, в разум возвращать. Разве можно ничего не делать, ничего не хотеть. Раньше он всякие мечты имел, насчёт того, какую технику приобрести: мотоцикл новый, лодку или телевизор. А начёт колдунов, так вот эти убогонькие и есть колдуны. Они и на Костю Лобачёва порчу наслали. Как не пройдёшь мимо его ограды, видишь: стоит мужик и всё на дерево своё любит. Дерево как дерево, что в нём нового? И на библиотекаршу тоже туману напущено – про тряпки да краски позабыла, ходит, как простая доярка, ненакрашенная, ненапудренная. Раньше книжку, либо журнал читателю на стол – шварк: нате, отвяжитесь, а сама бежит к зеркалу, причёску поправлять, тени наводить, ногти красить, по три раза их за рабочий день перекрашивает. А вчера мой Митька пришёл домой после уроков и говорит: «Мам, а что это с библиотекаршей приключилось? Её не узнать. В платочке, волосы подобрала, юбка до земли. Я обалдел и спрашиваю: «Вы ли это?» Она отвечает: «Добрый день Дмитрий, как поживаешь?» Я от такой вежливости офонарел! От кого такие слова слышу – от Светкирясогузки!? Сама видела, как она ходила: юбка-мини – плавки видать. Так бы...»

– Не продолжай дальше, говорю, охальник! Матери от сына негоже такое слышать! Следующий раз по шее получишь! А эта трясогузка, против нас, хороших женщин – жмых капустный.

– Думаю, у неё жених объявился и не велит бегать чуть ли не нагишом, парней расстраивать.

– Нет у ней никого! Ейный хахаль, агроном Реченский, в чайной плакал, жаловался, что Светлана Филаретовна ему отставку дала по случаю отсутствия между ними духовных интересов.

– Ты, мать, откуда такие слова знаешь?

– Запомнила!

– Духовных?! Может, за священника замуж собралась или за дьякона, они тоже духовного звания.

– Погодь, погодь, Митрий... Помнишь нищих странников? Там дед был гугнявый, собственными глазами видела, как однажды он со Светкой повстречался и залился слезой горючей, мол, я старик удивляюсь на ваше, дамочка, старание, как вы сумели одним нарядом и краской на лице, такую власть над душой мужской поиметь, жалко вашего старания, ведь оно к погибели ведёт.

– Что ж с того? Причём здесь дед?

– А при том, что он сильно тогда Светланку напугал.

– Вот старый хрен!

– «Хреном» ругаешься, а ведь он Марковну успокоил лучше, чем врачи, которые её таблетками от расстройства и печали лечили. Перестала бегать на мужнину могилку. Слава Богу, дети теперь накормлены, умыты, и сопли у них подобраны, а то было – срам смотреть.

– Да... После них что-то переменялось. Что?

– Бога напомнили. В комсомольские годы власть сильно на Бога обрушилась. Попов многих расстреляли, церкви разломали, старые порядки новыми заменили, застрашали народ. Перестали православные младенцев своих крестить, покойников отпевать, молодых венчать. Пришло время – очнулись! Вернулись ныне многие к вере. Ничего не поделаешь, природа одолела. Без Бога – не до порога.

– Молодые считают, что от «божественного» происходит одна скука: всего бойся, не пей, не кури, не ругайся, не обмани и так далее. Короче, здоровый образ жизни почти что. Вот видишь – «почти что». Врачи говорят, для здоровья надо с девками спать, а верующие – грех! Ещё я не согласен, что старших надо уважать. За что? Стариков-то много, а много ли среди них хороших людей? Большинство – злые и глупые. Всем недовольны, жизнь нашу ругают, ничего в ней не понимают, а мозги молодым полощут.

– Здравствуйте, Константин Николаевич, вы как раз вовремя пришли, у нас с сыном разговор серьёзный. Рассудите нас.

– О чём речь? – поинтересовался гость.

– Да про веру, про Бога, про теперешнее житьё.

– Времена, и в правду, непростые: закон расхитили, совесть попрали – это знамение времени. Никогда ещё не было так на русской земле. Всего десять заповедей дал нам Господь Иисус Христос, а попробуй их исполнить! Трудно. Нет ни единого человека, кто бы их не рушил, чтобы хоть капельку не отступил от Его закона. Грехи, кроме смертных, не оценивают – этот тяжелее, этот легче. Все грехом замараны. Ты, представь: один палец замарал в нечистотах или весь туда брякнулся – всё равно уже не чист, всё равно надо мыться, чтобы от тебя дерьмом не несло. Понятно говорю?

– А то! Я дядю Константина уважаю, есть за что, хотя он и старый.

– Спрошу: выходит, сколько ни старайся, а заповеди будешь нарушать, так стоит ли игра свеч? Отвечу: стоит. Весь мир на этом держится. Но есть различия между «нарушителями», то есть грешниками. Один помнит о своих грехах, оглядывается на каждый прожитый день, проверяет себя; здесь был неправ, там виноват, и просит прощения, спрашивает себя, как мог допустить такое, как обидел Бога? Ведь непослушание, то есть неисполнение заповедей, ведёт к греху. От сокрушения бывает великая печаль – душа горит, словно в геенне огненной. Страшный Суд такой человек переживает ещё при жизни. Он сам себя судит.

Возьмём, к примеру, Ивана Грозного. Он был великий грешник, о его злодеяниях много говорится, о раскаяниях – ни слова. Однако, найдены документы, которые свидетельствуют о способностях царя к великим и искренним раскаяниям. Царь корил себя, не стесняясь посторонних, падал на плиты монастырские, разбивая от отчаяния лоб до крови, слёзно вымаливая прощение у Бога. Можно только предполагать те великие муки, которые испытывал этот великий грешник.

История пишется людьми, а люди могут рассуждать и оценивать только по своему разумению. Народная молва – этот «глас Божий» – признала царя «Грозным» как крепкого правителя и защитника Руси.

Другой пример: царь Александр I, Благословенный. По его молчаливому согласию был убит его отец. Грех великий, отцеубийство, но покаялся ли в нём Александр? Возможно, но только в самом конце своей жизни, и то сомнительно. Легенда о «Кузьмиче», о том, что умирающий в Таганроге царь, на самом деле не умер, а велел похоронить кого-то другого, чтобы скрыться в таёжной глуши в уединённой келье для сокровенной молитвы, остаётся только легендой, версией.

Если первый – Иван Грозный – не давал себе поблажки, то второй – Александр – жалел себя и откладывал исповедь перед Богом в долгий ящик.

Впрочем, все эти исторические примеры не в осуждение персон, а в рассуждение об общей проблеме. Одно хочу сказать – им ведом был страх Божий. Нынешнее поколение рассуждает просто: один раз на земле живём, пожалеем себя, любимых, разрешим себе всё, снимем все запреты. Такие люди лишены совести.

– Митя, учись! Я знала, что вы, Константин, мужчина башковитый, но не думала, что столько знаете. Это же уму непостижимо! Вы меня простите, что пустое про вас думала – дурачок, что ли? Как мимо вашего двора иду, всякий раз одно и тоже вижу: стоит перед окном и дерево рассматривает. Зачем?

– Вы меня не выдавайте, а то шепнули мне: дескать, кончай трепать языком, власти заинтересовались, считают, что ты религиозную агитацию разводишь. Директор приказал Витьке, комсомольскому секретарю обо мне сведения собрать, а я чист, меня в милицию приглашали лекции читать, пусть себе другого козла отпущения находят.

– Они найдут, – пообещал Митька. – Они такие.

– Батюшки, не дай Бог, чтобы комсомолия эта проклятая на попов напала.

– Отобьёмся, Константин научит.

В тот вечер много было говорено, все остались довольны беседой. Но и власти не сидели, сложа ручки. Закрутилась машина, двадцать шесть шестерёнок. Витька потёрся о толпу, послушал разговоры и выяснил: какие-то нищие приходили, женщина-калека, два старика. Деревенские посчитали их блаженными, убогими и безобидными, прохожие странники ничего плохого не делали, почти ни с кем не разговаривали. Только, говорят, после них луговинки появились там, где они следы оставляли.

Светлане Филаретовне приказали стенд антирелигиозный вывесить в библиотеке, а она наотрез отказалась, ссылаясь на болезнь печени.

Председатель вожака комсомола поблагодарил за рвение, Светлане ничего не сказал – сделал вид, что поверил, но в приватной беседе со своими приближёнными, вернее сказать, подхалимами, пояснил:

– Это все несерьёзно, я придумал кое-что поинтересней. Поеду в район, зайду в отделение милиции и подам сигнал: дескать, появились в округе непонятные людишки – бродяги. Откуда прибыли неизвестно, может, из Астрахани, а там сейчас эпидемия. У нас тоже есть пострадавшие: троих отправили в райбольницу. Признали грипп. А что на самом деле – вопрос! То-то. Надо проверить, тех бродяг отловить и отправить туда, откуда пришли.

Расчёт хитрого директора оказался правильным. У «швыркиных» и «скворцовых» план горел по задержанию. Повскакивали милиционеры на свои «ижи» и газики, запылили, затарахтели по деревням.

Куда скрыться нищим и слабым от такой механизированной погони?

Вышли страннички из деревни безымянной для них – сколько таких прошли слабые, больные ноги!? – сели на пригорок, стали торбы свои дырявые перетряхивать, нащупывая куски помягче. Потом сушняку собрали, развели костёр для обогрева тела и чтобы чаёк вскипятить жиденский, травяной.

Дрожит огонёк несмелый в глухом месте безлюдном. Хорошо. Бабочка на грудь села – не боится! Пчела вьётся над головой – не жалит! Кукушка кукует, малиновая смолка цветёт – целый луг её!

– Мир Божий! – вздохнул гугнивый старик. – Не ведал его за суматохой жизни, а ведь кругом такая благодать! Смотрю на тебя, Лидия, не жжётся больше краса твоя, не слепит глаз. Вот ты и есть теперь красавица – травка, смолка малиновая. Ещё побродим, походим, и, глядишь, народимся в духе. Обветшали на нас одежды телесные – немые, глухи и слепы.

Тут как раз и въехал в благодатный мир бензиновый конь – мотоцикл милицейский, забуксовал на песке, зачадил, отравил воздух лесной, нарушил тишину светлую, отлетели в небо бабочки, пчёлка скрылась, поспешила в свой золотой улей.

– Кто такие? Документы!

– Погорельцы. Нет у нас никаких бумаг – всё сгорело.

– Место происшествия?

– Горки Едимновские.

– А, может, Астрахань?

– Какая ещё Астрахань? – усомнился гугнивый старик. – Мы там сроду не бывали.

– Проверим. Садитесь.

Срамота! Свалили всех троих в коляску, чтоб второй раз не приезжать, как мешки, не церемонясь. Кому, как повезло: старики внизу, женщина сверху, ноги из-под юбки торчат в разные стороны, а рукам не за что зацепиться, разве что за седую дедову бороду.

Запылили в сторону города.

### ХIII

*Я молилася, девка, трудилася  
Девяносто лет...  
Да как у девушки стало лицо,  
Как дубовая кора.*

Маша Поднебесина вернулась домой чудесным образом.

Не вышла ей амнистия и не по активровке освободилась девушка.

На этапе её тогда так и не хватились. Сказано, чудом вернулась, не просидев в лагере ни единого дня. Первым делом – к тётке Поле. О чём говорилось в старом доме, никто так и не узнал. Лушка понапрасну под окнами хоронилась – ничего ей узнать так и не удалось. Тихая беседа была. Осталась Маша жить у Красалымовых.

– Намолятся теперь власть наши богомолки, – заметила деревенская молва.

*Время рябит кругами по воде жизни, в центре – водоворот.*

*Мелкие круги к берегу прибьются и пропадут, пропадут бесследно. Самые крутые круги ближе к центру рябят возле водоворота. Там – тёмная воронка, Вечность. В мелких кругах – мелочь размытая, не увидишь в ней ни ликов, ни фигур, затерялись, пристав к берегу, пропали в неизвестности. Ждёт жадный берег небытия новых набегов волн жизни, ждёт, чтобы их поглотить, смять, укротить. У центра до берега далеко, и потому там ясно видны черты и лица. Их ничто не смывает, не растворит, они – родители волнения, истоки рождения волн.*

*Много их. Кипуча русская река. В центре – князья, цари, блаженные, праведники, мученики, герои, учёные, богомазы, раскольники, бунтари и миротворцы, немцы, русские, поляки, грузины, азиаты и евреи... Законы пишут, уложения, проповеди, «правды», указы и приказы, проекты и протесты. Кто словом, кто делом, кто пером, кто кистью, а кто и кистенём. Во все времена горька и солоня русская правда.*

У «швыркиных» и «скворцовых» вышла неувязочка с теми погорельцами. Пока их отлавливали, план по задержанию выполнили за счёт шести школьников, ограбивших пивной ларёк. Вот и подумали: на кой нам эти старцы? Если бы это были рецидивисты известные, тогда другое дело, а с этими старыми дурнями намучаешься, пока протоколы составишь. Нет, нет и ещё раз нет!

– Я бы их отпустил, – предложил сержант Скворцов.

– Я бы тоже, – согласился лейтенант Швыркин. – Но начальство другого мнения, придётся выполнять приказ.

– Что, страннички, язычки свои развяжем и поговорим по душам, – обратился он к несчастной троице, сидящей с обречённым видом на деревянном диванчике. – Откуда и куда бредёте?

Но ответа не проследовало, хотя вопрос был задан явно в миролюбивом тоне.

– Хорошо, – огорчённо вздохнуло должностное лицо. – Начнём с женского персонажа. Имя, отчество, фамилия, какими будут?

И опять тишина в ответ, только возня и посапывание.

– Я же тебе говорил, Скворцов, ещё намучаемся мы с ними. Не бить же их!

Но вдруг старичок поднялся с диванчика и, смятая в руках старенькую егерскую фуражку с оторванной эмблемой, попросил:

– Не трудись, мил человек, по такой форме мы ответственность не в силах, потому как нет у нас на самом деле ни имени, ни фамилии. Все сметено могучим ураганом, а точнее – жизнью!

– Час от часу не легче! – возмутилось начальство. – Сказочник-кудесник объявился, двух слов связать не может, а туда же – артист Малого театра. Не обижайся, папаша. Не хочешь отвечать по нашей форме, отвечай по своей.

– Спасибо, сынок. Перед тем, как Господь уста запечатает, разрешаешь слово сказать. Да простит тебе Отче наш грехи вольные и невольные. А моих друзей ни о чём больше не спрашивай. Не видишь, глухи и немые они. Видать, я грешнее их, и по воле Божией ещё в разуме, значит, мне одному и отвечать. Скажу честно, без похвальбы, таких, как мы, ты ещё никогда не арестовывал и не допрашивал. Коли хочешь, пиши свои протоколы, а нет – слушай.

Возраст наш ветхий, на свет появились ещё при Царе Горохе, постоянных имён не имеем, в каком времени действуем, такое имя и получаем.

Я Пётр, значит – «камень». Но по нынешним времена, если назовусь «Камнем», никто ведь и не поймёт. Лидию и Александра, этих двоих, тоже не стоит окликать первоначальными именами. Первоначальное имя человек получал по главной своей сути: если он победитель, значит, «Александр», если она чистая душа, значит, «Светлана». А наши древние имена суть: «Своеумник» – вот как на самом деле зовут Александра; «Греховодница» – это Лидия; «Бражником» я, Пётр, прозываюсь. Но «Пётр», «Александр» и «Лидия» – кликухи наши по понятию.

Проживали мы во всех землях при всякой власти, вроде её наёмников: Своеумник, Бражник да девка распутная Греховодница – такие всякому правителю сгодятся. Приставлены мы были к русской правде. Знаешь, что это такое? Калёное железо она, русская правда. Пытаются ею все, живущие на Руси спокон веков. Ни одна душа этого испытания не минует, не избежит проверки: с кем она и куда хочет уйти? Либо с Богом, либо с дьяволом; либо на небо, либо в преисподнюю; либо в Царствие Небесное, либо в ад; либо правда, либо кривда.

Подбивали мы людей русских, чтобы они за кривдой шли, искушали, развращали. Бунты, восстания, расколы, революции, заговоры, убийства, перевороты – всё мы совершали. Никем не брезговали, ни именитым, ни простым смердом. Были и у царя Ивана, который желал Царство Божие на Руси утвердить. Сам ты, Швыркин, про то читал и видишь, что получилось? А мы и рады – так осрамили на веки вечные государя, который мог бы стать великим... Имена и прозвища наши менялись, но суть оставалась одна: «Своеумник», «Греховодница» и «Бражник».

Как только выйдет новый богатырь за правду русскую биться, так мы сразу ему меч в руки: не строй, а разрушай, руби, как капусту левых и правых, друзей и врагов.

«Вниз по матушке, по Волге, vyplывают расписные...»

– Эх! За волюшку, за русскую. Эх! – покати́лась голова кудрявая сына купеческого.

– Эх! – налетали на мёртвое тело страннички, стягивали с него дорогое платье парчовое (голову отрубленную ногой в канаву спихнули – едят её мухи с комарами!)

– Эх! – облекались не по чину в чужие одежды, красовались в них,

похвалялись: теперь напьёмся, нажрёмся, нарядимся на халяву!

Эх! Стенька! Эх! Разин!

Что ему любовь!?

– Натe, псы!

Что ему ненаглядная!?

– Натe, други!

Что ему кроткая!?

– Натe, черти!

Что ему беззащитная?

– Эй ты, Филька, шут, пляши!

– Где ключи твои от рая, атаман?

– В крови утопил!

– Где правда твоя, Стенька?

– На дне.



А Пугачёв Емелька? Емелька-пустомелька... В цари вышел? Как же! Мели Емеля, твоя неделя. Ох и намолол... Одних шуб боярских сто возов – нарядиться всякий может... Всяк пляшет, да не всяк скоморох!

Про одного ещё скажу. Ты его тоже знаешь, в школе проходил.

Умная голова на крепкие плечи посажена. Духом силён, соблазнам не подвержен, в корысти не замечен. В роскоши, и в лихоимстве, и в чревоугодии – тоже. В хате, как у монаха в келье: топчан серым сукном покрыт, один стол, один стул. А сам ведь в чине и титуле.

Холост, прост, опрятен.

– О чём вы, сударь, всё думаете? О чём, друг мой, всё пишете в зелёной тетради? Похудели, извелись. Позвольте взглянуть. А-а-а... Это вы сами написали: «Требую физического уничтожения царской фамилии»? Признайтесь, это ведь нечистый водил вашей благородной рукой. Вы, как вас называют – «отец «Русской правды» и вдруг «уничтожить»!.. Дас ист унмёглих, Павел Иванович, понятия «правда» и «убийство» не совместимы.

В кино видели это. Бездна бездну призывает.

Она из бездны, худая, чёрная, как головёшка, еврейка. От волнения не успела кудри с библейского лба под шаль спрятать. Чёрный наган в руке: за революцию – бах! В марксиста – бах! За Интернационал – бах в пролетарского вождя! Бездна бездну призывает.

Про советскую правду частушки пели:

– Налетали, распинали, раскулачивали,

Щас в Кремле за счёт народа наворачиваем...

– Ну что, – спросил зевая Швыркин, – закончил лекцию?

– Так. Если вы чего поняли, то выпускайте преступников, которых уже наловили, они сами по себе ничего не могли сделать, это мы во всём виноваты, через них действовали. Запомнил? Своеумник, Греховодница, Бражник. Надевай на нас поскорее венцы мученические – это мы за все в ответе, с нас и спрашивай, звони в свой телефон.

При этих словах двое сидящих на диванчике, вдруг оживились, забубнили, забеспокоились. Сначала женщина, а за ней и мужчина, сползли с диванчика, не подымаясь на ноги, двинулись вперёд, вытянув в немой мольбе тощие руки.

Милицейская невозмутимая, твёрдая и неумолимая власть вдруг испугалась не на шутку, вызвала по кнопке подмогу, забила в истерическом крике:

– В дурдом! На экспертизу! Такую речугу мне здесь старикан закатил на историческую тему! Меня аж в жар бросило! Послушать – артист Малого театра, а так – сумасшедший! Наверное, мания величия. Стресс после пожара. Везите поскорее его и этих двоих с ним – они тоже ведут себя неадекватно: ползают на коленях и режут во все горло. Буйные!

#### XIV

*Шизофреники вяжут венки,  
Параноики рисуют нолики...*

Вот уж истинно храм! От людей добрых в отдалении, среди лип вековых, за оградой высокой, при охране бдительной. Простому не попасть туда, а избранному – не выйти. Пожизненно: для одного входа нет, для другого – выхода.

Что за таинства совершаются здесь, за что и кому молятся?

Липовая аллея к храму ведёт, приговорок зелёный, на нём желтеют одуванчики.

Кого по аллее той силком тянут, а кто и добровольно идёт, улыбаясь блаженно.

Служители в храме дюжие, подобны тем, кто в чистилище – зоркие, сразу видят: этого – в буйное, этого – в тихое.

В буйном кругом ни пылинки, ни соринки, ни стёклышка, ни острого камушка. У буйных терпения нет сидеть взаперти без деятельности: как тут высидишь, если такие события в мире происходят? Годится и пёрышко, и щепочка, чтобы совершить переворот, присоединиться к зелёным беретам, синим бородам, африканским там-тамам, вьетнамским ует-намам, итальянским мафистам, гонконгским морфинистам.

Переживают буйные за стихийные бедствия: смерчи, цунами, ураганы, извержения, потепления, потопления, обвалы, завалы; за правительственные и экономические кризисы, инфляции, дополнительные ассигнования, повышения тарифов на транспорте (Рабинович, сколько ножек мы имеем на таракане? – Ваша бы мне забота, господин учитель!)

А на тихих скамейках все сидят смиренно, никто не шарит по земле в поисках криминальных предметов: острых стёклышек или потерянных булавок. Никто не мечтает, чтобы «с товарищем верным в тюрьме решетки пропилить». Тихие таких слов не знают и песен таких не поют. У тихих в карманах лежат и спички, и папиросы. Нормальные люди. Разве что кто-нибудь из них для разминки со скамейки спрыгнет или невинно проглотит «бычок». Здесь царит полное равенство, нет ни вождей, ни лидеров, ни «паханов». Слесарь-водопроводчик равен Александру Невскому; студент-физик – Григорию Распутину; столяр – императору Нерону; учёный с мировым именем считает себя «винтиком», а великий писатель согласен быть просто Иваном Денисовичем; поэт именуется маляром и поёт при этом песенку с такими словами: «и при всей квалификации здесь возможен перекося, это, братцы радиация, а не то, что купорос».

Но всё равно в этом храме всегда – бунт, хоть тихий, хоть громкий. Каждый пациент вопит о своей правде, за неё молит и оружие подымает: кусок бумаги, гвоздик ржавый, стекло битое, тесёмку, проволочку. Метут служители мусор, метут, стараются, но умалишённых не проведёшь, они нужное всегда отыщут. Отыщут бумагу и карандаш, чтобы написать нолики и крестики, галочки на небесах. Счисляют, плюсуют, минусуют...

В чём истина? Каков ответ?

Истина в равенстве?

Истина в свободе?

Истина в братстве?

Истина в диктатуре?

Истина в демократии?

Истина в мире?

Истина в хижине?

Истина во дворце?

Истина в государстве?

Истина в монархии?

Истина в личности?

Истина в желудке?

Истина в вине?

Истина в одном дне?

Истина в искусстве?

Истина в труде?

Истина в городе? истина в деревне? истина в странствиях? в покое? в собственности? в обществе? истина на Западе? на Востоке? в средней полосе? в цивилизации, в дикаре, в отказе, в борьбе, в детях, в простом и сложном?..

Каждый своё отстаивает, каждый умереть готов (и умирает!). Сотрясается храм от волнений, за волной волна накатывает на берег правды, захлёстывает его, обрушивает, размывает. Шумит, кипит водоворот жизни.

А немой, которого на мотоцикле из Клина доставили сюда, сидя на скамейке «тихий» вдруг спросил: «В чём разница между волком и собакой?»

...Наутро явились санитары, чтобы пригласить новоприбывших на завтрак, а тех уже и след простыл. Куда подевались? Нету в лечебнице ни Петра, ни Александра, ни Лидии. Не могли же эти убогие в окно выпрыгнуть, значит, какими-то неведомыми путями отбыли они в своё пакибытие. Где и когда всплывут «Своеумник», «Бражник», «Греховодиха», какой волной прибьёт их опять на берега Русской реки, и прибьёт ли? В каких личинах предстанут?

Впрочем, можно предположить, что они уже здесь, с нами, и гуляют по Красной площади. Говорят, видели и Ленина, и Сталина, слышали пересуды о них:

– Да они, как настоящие – не отличить. На Владимире Ильиче его неизменная кепочка, а Иосиф Виссарионыч со своей неизменной трубкой.

– Артисты, что ли?

– Да нет! Скорей всего бомжи, деньги со зрителей собирают.

– И много им подают?

– Кто их знает? Наверно прилично, потому как, бывает, и друг другу морды набьют, не поделив доходы. Вот потеха! Обхохочешься: «Ильич» рвёт пасть своему лучшему другу «Сосо»! Никаких денег не жалко поглядеть на такое!

– Откуда у них прикиды: сталинский френч да ленинский костюмчик? И причёски, усики, борода – всё, как в кино, очень похожи.

– Кто-то, небось, их спонсирует, может, олигарх, какой.

– Бизнес! Теперь кругом один бизнес.

– *Ау!* – *откликнулась из своего пакибытия старуха Пелагея.* – *Дожились. Ничего святого.*

– Ну, вы, Пелагея Яковлевна, совсем с дуба рухнули. Это Ленин да Сталин святые?

– Пёс с ними, что о них говорить: один в гробу лежит уж почти сто лет – земля не принимает такого антихриста; другой в аду горит, как старцы святые сказывают. Мы при пороге стоим, нам о душе думать надо.

– *Осип, покажь ключи от рая!*

В Горки почтовая открытка пришла на имя Пелагеи Яковлевны Красалымовой, и все смогли прочитать: «До меня лететь тремя самолётами. Помирай спокойно. Пётр».

Схоронили тётю Полю Красалымову, плачей по ней особых не было. Что поделаешь – всем помирать надо. И так уж много прожила, почти сто лет.

Волю покойной уважили, батюшку привезли из Клина, чтобы отпел.

Последний раз крикнул петух красалымовский, чтобы возвестить о конце истории на могилке свеженькой, предвосхищая последнее чудо, что произошло в деревне Горки Едимновские в конце двадцатого века.

Вся деревня, не только Первухин с Рексом, увидели двух ангелов в столбе светлом, и ступеньки увидели, как их ветерок колебал из стороны в сторону.

Спускались ангелы на Полину могилку, чтобы положить плиту с золотыми буквами: «Преподобная Пелагея, мать Петра-мученика. Страдала за народ русский все десять веков».

И детей видели, хороводы небесных ангелов вились над головами, порхали, как бабочки полевые.

Кто-то хотел было вякнуть что-то о массовом гипнозе или насчёт инопланетян, но побоялся. Лучше верить со всеми, чем ради научного принципа быть битым. Горкинцы – народ отчаянный.

После похорон сгинул петух.

Притихли Горки перед новыми временами. Зажили во внешнем, никто больше не захотел оборачиваться из Яви в Навь, никто больше не захотел сказки слушать.

Маша Поднебесина после Полюшкиной смерти ушла, говорят, в монастырь. Слухи эти обсуждались на деревенских лавочках. Одни одобряли, другие – нет. Одни говорили, раз Любовь, то нечего прятаться за стенами, иди в люди. Людям теперь любовь надо узнать, они её проморгали в советские времена, всё больше на ум, чем на сердце надеялись. Тут, тётка, смекай, что может в пустом горшке поселиться? Ага. Нечисть разная: жуки, пауки, а то и мышь упадёт и сдохнет. Посуду надо держать в чистоте, так же, как и душу, а душевная чистота – что это такое? Да любовь! Чистое сердце Бога узрит, а Бог – он и есть Любовь...

Не сладилось у Машеньки с монастырём.

Ушла от тишины, не обмаслилась лампадным маслицем. Вы, старицы, спасайтесь, Бог вам в помощь, а мне людей жалко.

Вышла на асфальт. И тут прямо на шоссе забрезжил перед ней тот свет небесный голубой. Струилась голубизна над всей землёй, и не было для неё преград. До всех закоулков-занорышей души человеческой достигала она. Всякое чистое сердце видело тот цвет, отзывалось на него как на материнскую ласку, тянулось к Её милосердным рукам. Соборным платом был для всех он – свет Марии Голубой, свет Души Русской.

## XV

*Проходит явь, проходит сон...*

Коллега:

– ...Ну что? Закончила свою Книгу? Да? Я рад... И рад распрощаться навеки. Твой Саша Соколов. «Твой» зачеркни...